

ЗОЩЕНКО ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА. О БОЛЕЗНИ И ЛИТЕРАТУРНОЙ РАБОТЕ

<М. М. ЗОЩЕНКО>

Часть 5 (1950-е годы)¹

*(Вступительная статья, подготовка текста
и комментарии Т. М. Вахитовой)*

Аннотация: После Постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» (1946), которое вызвало уничтожающую со стороны властей критику в адрес М. Зощенко, автор был сломен как творческая личность, как большой художник, как честный человек. Писательская организация поддержала идеологические установки власти, исключила его из Союза писателей, перестала печатать его произведения и окружила молчанием и жесткой критикой. Но к середине 1950-х гг. вроде бы ситуация стала меняться: и с материальной точки зрения — Зощенко принимают в Союз писателей, отправляют в санаторий им. Орджоникидзе в Сочи, выдают материальную помощь, и с творческой — писателю предлагают переводить разные произведения с финского, армянского, украинского языков. И М. Зощенко, к сожалению, становится переводчиком, теряя свою уникальную индивидуальность. Поэтому переживает периоды тяжелой апатии и просит К. Федина посодействовать переизданию избранных произведений.

Ключевые слова: М. Зощенко, официальная критика, идеологические обвинения власти и писательского сообщества, исключение из Союза писателей, лишение средств к существованию.

Abstract: After the CPSU (B) Central Committee's decision on the journals "Zvezda" and "Leningrad" (1946), which caused destructive criticism from the authorities against M. Zoshchenko, the author was broken as a creative personality and big artist. The writers' organization supported the ideological guidelines of the government, expelled him from the Writers' Union and stopped publishing his works, either deliberately making no mention of him in the press or subjecting him to fierce criticism. However, by 1950s the situation had gradually begun to change. Zoshchenko was granted membership in the Writers' Union, sent to Ordzhonikidze sanatorium in Sochi, qualified for financial aid and offered to translate some works

¹ Части 1–2–3–4 публикации см.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2013 год. СПб., 2014. С. 380–449; Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2015 год. СПб., 2016. С. 844–912; Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2016 год. СПб., 2017. С. 663–714, Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2018–2019 годы. СПб., 2019. С. 506–534.

from Finnish, Armenian and Ukrainian. Unfortunately, Zoshchenko becomes a translator losing his unique individuality, as a result he undergoes periods of deep apathy and asks for K. Fedin's assistance in republishing his selected works.

Keywords: Mikhail Zoshchenko, official denunciation, ideological accusations by the authorities and writers' society, expulsion from the Union of Soviet Writers, deprivation of livelihood.

После так называемой перестройки (1985–1995 г.) творчество Михаила Зощенко ученые и критики стали исследовать с идеологических позиций, обращая прежде всего внимание на преследования человека партийными и идеологическими органами Союза писателей и ЦК ВКП(б). Человеческая личность писателя оказалась в тени, многие факты его биографии даже не упоминались. Писатель, существовавший в каждодневности, представлял перед читателем лишь в отдельных катастрофических случаях, далеких от канонических и постоянных дел. Можно отметить лишь книгу А. К. Жолковского,² в которой приняты попытки разобраться между реальностью и творческими фантазиями, кризисами супружеской жизни и зощенковской иронией.

Поэтому публикация мемуаров Веры Владимировны Зощенко (мемуары почему-то названы в описи архива М. М. Зощенко статьей) не только раскрывают определенные (иногда неизвестные) факты биографии писателя и особенности супружеской жизни, но и представляют сталкивающие порывы естественного поведения и сложившегося за многие годы этикета. Эти многоликие порывы, иногда вносящие в жизнь горе, печаль, скорбь, очень редко возбуждали живой интерес, мгновения радости и счастья, поэтому порывистый текст Веры Владимировны, иногда даже истеричный, позволяет читателю даже сегодня раскрыть и естественный, и академический смысл текста. В этом тексте ярко проступает характер человека в обыденной форме простого человеческого бытия, что несомненно вызывает большой читательский интерес. Размышляя над раздумьями, обидами, слезами Веры Владимировны, неожиданно замечаешь, как тайное становится явным, конечное бесконечным, невыразимое отчетливым.

Прожив с мужем почти сорок лет, Вера Владимировна в 1950-е годы испытала все сложности материального, бытового состояния вдобавок к психологическим обидам, ревности, оскорблениям и даже незаслуженным упрекам. Феномен жизни Михаила Зощенко заключался в том, что он упорно сопротивлялся несправедливостям жизни, находя в себе силу для противостояния им. И эта черта его характера каким-то образом преодолевалась творчеством, заботой многочисленных подруг, но одновременно и спорами, и несдержанными выражениями относительно своей собственной жены. Если в 1920-е годы супруги Зощенко

² Жолковский А. К. Михаил Зощенко: поэтика недоверия. М.: Языки русской культуры, 1999.

могли обсуждать рассказы молодого писателя, спорить о стиливых особенностях текста, то уже в 1950-е годы речь шла о деньгах, ревности, нормах политического поведения, письмах в Москву, письмах к Сталину, бывшим «серапионам» с просьбой о помощи. Разумеется, эта политическая интенция портила и деформировала жизнь даже у крепких людей, но какие-то связи все же должны были остаться в их доме, чтобы он не разрушился совсем.

Вера Владимировна впервые описывает обыкновенный день писателя Михаила Зощенко: «Встает он между часом и двумя и сразу же садится за письменный стол, начинает писать или просматривать написанное, прихлебывая кофе, который я подаю ему в его комнату и ставлю на письменный стол. Часто он забывает съесть яйцо всмятку, которое я варю ему на завтрак (от чего-нибудь другого он категорически отказывается). В пять уходит обедать, а иногда и пройтись. Примерно в половине 7-го возвращается. Немного полежит, и снова за письменный стол — примерно до половины 11-го... Потом уходит гулять, выпить пива, изредка к знакомым.

Ровно в 12 приходит домой и просит чаю. Затем слушает радио до часу, потом иногда поговорит со мной или «побудет» (близость). И, около 2-х часов, прикрывает плотно свою комнату. (До этого времени дверь всегда раскрыта настежь). Наутро большей частью жалуется, что заснул поздно, мешали мысли или работа до 5—7 часов, а иногда и до 9 часов» (С. 168).

Для серьезной, можно сказать, каторжной работы Зощенко были необходимы чистый письменный стол, чашка кофе утром, немного пива вечером, прогулка, изредка — игра в преферанс (обычно в семье Груздевых).

Несмотря на то что Михаил Михайлович воспитывался в аристократическом мире — отец у него был известный художник, в армии сам писатель был офицером, общался в молодости с талантливыми, начинающими свою судьбу писателями и поэтами, был знаком с классиками русской литературы. Тем не менее, часто ходил в пивные, но играл не в шахматы, а в карты. Однако честь, достоинство и смелость сумел сохранить вплоть до ухода из жизни. Его привязанность к пивным заведениям объяснялась не просто любовью к этому напитку (пиву), он даже в ресторанах, куда его «затаскивали» друзья из Москвы, пил только пиво. Его интересовали разговоры при принятии напитков из пивных кружек. Он ощущал за комическими пристрастиями глубокие трагические ноты. На них обратил внимание еще в XIX веке Н. П. Огарев.

Н. П. Огарев, комментируя свое стихотворение «Кабак» (1841), писал: «Да, мне многое и многое хочется схватить из поэтической грусти и жизни России. Наша народность довольно оригинальна и содержит довольно глубокий поэтический элемент, чтоб трудиться представлять ее в поэтических образах. И именно надо спуститься в низший слой

общества. Тут-то истинная народность всегда трагическая. Высший и средний слой, довольно уродливо проникнутый европейской жизнью, имеет больше комического элемента...».³

Казалось бы, если бы судьба не преподнесла М. Зощенко независимые от него трагические в те времена события («Постановление 1946 г.», в первую очередь, лишение продуктовых карточек, исключение из Союза писателей, остановка публикации «Перед восходом солнца», критика этой книги Союзом писателей и всеми газетами СССР, встреча с английскими студентами), то повседневная жизнь наладилась бы. Но существовала еще одна проблема — супруга М. М. Зощенко — В. В. Зощенко. Ее очень трудно понять, ибо она была «королевой» повседневной жизни и принимала решения против мужа независимо от своих предыдущих намерений. Например, получив из Сочи от врача подробную программу общения с нездоровым мужем, нуждающимся в покое, тишине, хорошем питании, спокойном сне, в гулянии по 2–3 часа в день и т. д. (осень 1954 г.) (С. 188–190). Но уже зимой 1955 г. Вера Владимировна устраивает скандал, связанный с ремонтом и литературными делами (списком подстрочника, в котором она стремилась угадать руку или Маришки Блейман, или кого-то другого). А потом записывает в блокноте: «Упомянуть о Маришке, конечно, было лишнее». М. Зощенко также начинал вести себя грубо, несправедливо, выслушивая сплетни, которые приносила «королева» от дворничихи (С. 197).

Идеологический хаос, который проникал в квартиру Зощенко, обретал повседневный характер и касался супругов, проживших долгие годы, имеющих сына и внука. Потом наступали неожиданно тихие, спокойные дни. А затем снова наступали расставания и встречи, страдания и нежности, упоение страстью и трезвый расчет ума, преклонение перед гением и потрясающим любовником и осознание эгоистичности его натуры, любовь, доводящая до слез, и ненависть и злоба, убивающая эту любовь и нежность.

Самый главный вопрос, который мучил Веру Владимировну, трудно сформулировать, но приблизительно он звучит следующим образом: «Что же делать, как жить дальше? Может быть, просто уйти или уехать?». Но ответить на этот вопрос было просто невозможно. Г. В. Филиппов, рассматривая эту тему, заявил, что для современников XIX века, знакомых с драмой Аполлона Григорьева «Два эгоизма» была характерна «любовь как борьба эгоизмов, любовь-вражда». Но если в том столетии «эгоизм» еще связывался с высоким героическим индивидуализмом, с борьбой «роковых страстей», то в XX веке он обернулся жалкой пародией, а трагедия «фарсом».⁴

³ Огарев Н. П. Мой Русский стих, живое слово: Стихотворения. М.: Детская литература, 1983. С. 148.

⁴ Михаил Зощенко. Материалы к творческой биографии. Кн. 1 / Отв. ред. Н. А. Грознова. СПб.: Наука, 1997. С. 50–51.

Семейная жизнь Зощенко с течением времени становилась все более и более истеричной, нервной. Политические неприятности, обрушившиеся на Михаила Михайловича и отправившие семью к нищете в прямом смысле, обрекали ее членов на споры, неприязнь, истеричные скандалы. В их отношениях проскальзывали ноты ненависти по самым простым и незначительным вещам: то поставили ковер около комнаты Михаила Михайловича, то пришли не те гости, то Маришу назвали умной женщиной, каковой Вера Владимировна ее не считала, то неправильно употребили слово — вместо «заботы» супруга сказала слово «нянчилась» и т. д. и т. п. И заканчивались эти ссоры, вызванные, разумеется, сложной жизненной обстановкой, нищетой, отсутствием заботы друзей, полным молчанием и ненавистью, с которой никто не решался и не умел бороться.

Подобное положение не могло не отразиться на здоровье Михаила Михайловича. Он стал жаловаться на боли, на ногу, которая отнималась, на отсутствие аппетита. Он был испуган, чувствовал себя ужасно, и даже врач из Литфонда, которого вызвала Вера Владимировна, не сумел его привести в приличное состояние. Опять начались появляться «блуждающие» боли: то в боку, то в пояснице, то под ребрами. «Боли были очень резкие, — писала Вера Владимировна, — очень его беспокоили и мучили...» (С. 201).

Супруга Зощенко старалась ему помочь, забыв о ссорах и неприятностях личного характера. Но они все равно возникали, и Маришка являлась главной интриганкой в их отношениях. Любой малозаметный случай с этой дамой вызывал скандалы, истерики, нелепые и тяжелые обвинения. Михаил Михайлович продолжал по разным поводам заходить к Марине, и этот факт вызывал у Веры Владимировны истерику, обвинения мужа в неверности, вражду.

Возникали проблемы и из-за денег. Вера Владимировна хотела купить супругу столик для работы в комиссионке, но он отказался категорически, «опять стал нервничать и говорить мне свои обидные, несправедливые обвинения...» (С. 204). Вере Владимировне ничего не оставалось, как перечитывать свои старые дневники.

В записках 1917 года она нашла свои размышления о супруге:

«Сейчас уже ясно и понятно одно — я любила, очень любила Михаила... И он когда-то очень короткий миг, правда, любил меня... И в память этой любви я должна сейчас сделать все возможное, чтобы спасти его от смерти, от гибели... Это моя единственная цель и задача сейчас. И я должна это сделать не для того, чтобы завоевать его любовь, не для своего личного счастья! Нет, только лишь в память былой любви нашей юности, в память тех ярких, сверкающих мгновений, которые он дарил мне когда-то...»

Я должна помочь ему стать здоровым! <...>»

Приведенные слова Веры Владимировны, напоминающие завещание, хотелось бы воспринять как положительное, выстраданное же-

ление осветить свою жизнь, придать ей какой-то светлый и разносторонний аспект, покончив с утомлением, истощением, истериками и ссорами. Но, к сожалению, этого не случилось. Вслед за добрыми намерениями и нежными словами опять начинаются ссоры, раздражение и даже разговоры о разезде.

М. Зоценко отказывается лечиться, не слушает советов супруги, не принимает лекарств, которые с большим трудом доставала Вера Владимировна. Самая пустая фраза, по словам жены, оборачивается против нее: «сегодня я оказалась “гувернанткой”, делающей ему “выговоры”!» Очень непросто понять, каким образом два умных человека могут постоянно находиться в состоянии нелепых и бессмысленных отношений. Виноват ли кто-нибудь из них? Или романтическая сущность этой пары просто не могла существовать в огромном поле «мещанства»? Ответить на эти вопросы невозможно.

Тем более, что обвинения друг друга в семье Зоценко продолжались. Врач Гамеева З. из Сочи, которая наблюдала за Михаилом Зоценко, как я уже упоминала, составила план пребывания Зоценко в Ленинграде. Возможно, если бы он исполнял все пункты этого плана, его психологическое состояние намного улучшилось бы. Врач-терапевт писала Вере Владимировне, что нужно делать: «Много волнений причинил ему съезд писателей. Вообще Мих. Мих. очень впечатлительный, легко возбудимый больной, и маленькая причина легко выводит его из равновесия».⁵

Если сравнить рабочий день М. М. Зоценко, о котором писала Вера Владимировна, с пожеланиями врача-терапевта, то общих правил почти не найти. Зоценко жил как хотел, не прислушиваясь к врачебным рекомендациям. И супруга, действительно, ничего не могла сделать.

Новый год Зоценко редко встречал дома, ходил к своей Маришке или к Н. Акимову, в гости после трудового дня заходил играть в преферанс к семье Груздевых — Илье Александровичу и Татьяне Кирилловне. Из всех «серапионов» Зоценко выделял Слонимских и Груздевых. Р. Гуль описывал Груздева как одного из самых замечательных «серапионов»: «Илья Груздев был человек самый хороший. Именно — хороший. В Груздеве не было никакой литераторской позы, никакой фальши. Он был душевно чистый человек. Искренен, прост, с некоторым юмором. Порядочность, благородство поступков, преданность братству запомнили многие. <...> Внешне Илья был полн, мешковат, в одежде без всякой претензии на моду, лицо румяное и очень русское».⁶

В молодости, когда из Москвы приезжали друзья после получения гонорара, то Зоценко забирали с собой либо в ресторан, где он доволь-

⁵ См. с. 581—583.

⁶ Гуль Р. Б. Я унес Россию. Том I: Россия в Германии. М., Берлин: Директ-Медиа, 2019. С. 318—319.

но тихо сидел с бутылкой пива, либо за кулисы театров — знакомиться с актрисами. После «Постановления 1946 г.» общались с Зощенко очень немногие люди.

Орфография и пунктуация приведены в соответствие с современными нормами. Кавычки авторские.

1950 год

Перед отъездом в Москву (в конце декабря <1950 г.>) он сказал, что относится ко мне хорошо и только не любит, когда я «скандалю» — так он называет мои слезы, которые невольно льются из глаз в ответ на его злые, несправедливые и обидные слова.

Он сказал: «Очевидно, ты всегда требовала от меня чего-то, чего я не мог выполнить и от этого “я уходил в болезнь,” притворялся, но это было несознательно». Конечно, какая-то психическая отягченность в нем есть, какой-то психоневроз живет в его душе, от которого он тщетно старается избавиться путем своего «психоанализа» — расшифровки снов и детских впечатлений.

Если это больной человек, надо терпеть до конца потому, что я все же люблю его и жалею и потому, что я, очевидно, все же как-то нужна ему.

Но как преодолеть его «патологическую ложь»? Последнее время я замечаю, что он мне страшно лжет, и часто лжет совсем бессмысленно и ненужно, и я не могу понять — зачем?

Он утаил от меня настоящую сумму полученных им из Союза денег — он получил 3 тысячи, а мне сказал, что 2.

Он не передал мне письма от Мариэтты,¹ которые он вскрыл и прочел. Явная ложь, что он забыл это сделать, так как я спрашивала его об этом, когда он сказал, что Мариэтта советует ему подать заявление о восстановлении в Союзе писателей. И таких примеров бессмысленной, ненужной лжи было много.

«Он упорно твердит мне, что не любит Марины:² “Никакой любви у меня к ней нет, никакой роли она в моей жизни не играет, если б было наоборот, я бы изменил свою жизнь, она мне нужна потому, что она мне помогает материально, чего ты сделать не можешь, а мне важно сознание, что меня кто-то поддерживает, что я не умру с голоду, потому что иначе я не смогу работать“».

Может быть, эти обеды ему, действительно, необходимы, может быть, в этом его последний «психоневроз с едой», как он говорит, потому что дома, он, действительно, ест мало и плохо, даже по утрам, когда он уже точно никуда не уходит и нигде не ест, кроме дома...

Летом даже говорил, что будто бы даже прекратил с ней близкие отношения...

В его «психоаналитических» заметках» настойчиво повторяется мысль — «страх перед libido, рука, наказание» (С. 167).

Все это говорит за нездоровую психику, за то, что нельзя подходить к нему с обычной меркой, обычными требованиями.

Так я считала всю жизнь и потому смотрела «сквозь пальцы» на его «странности», мирилась с ними.

Если это «психоневроз», как бороться с ним? Как победить его, «страх» передо мной, потому что, мне кажется, этот страх существует и отсюда берет истоки вся эта ложь, все это «притворство»... А эти его «спазмы», когда я вхожу в его комнату и начинаю разговаривать на «личные» темы, которых он так боится? Как доказать ему, что этот страх напрасен?

Михаил страшно устал. Он действительно работает не меньше восьми часов в день, не считая ночи. Встает он между часом-двумя и сразу же садится за письменный стол, начинает писать или просматривать написанное, прихлебывая кофе, который я подаю ему в его комнату и ставлю на письменный стол. Часто он забывает съесть яйцо всмятку, которое варю ему на завтрак. (От чего-нибудь другого он категорически отказывается.)

В пять уходит обедать, а иногда и пройтись. Примерно в половине 7-го возвращается. Немного полежит и снова за письменный стол — примерно до половины 11-го... Потом уходит гулять, выпить пива, изредка — к знакомым. Ровно в 12 приходит домой и просит чаю. Затем слушает радио до часу. Потом иногда поговорит со мной или «побудет» (близость). И около 2-х часов прикрывает плотно свою комнату. (До этого времени дверь всегда раскрыта настежь.) Наутро большей частью жалуется, что заснул поздно, мешали мысли или работа — до 5—7, а иногда и 9 часов.

Конечно, он очень устал... И, главное, — работа не дает ему почти никакого удовлетворения — ни материального, ни морального.

Летом (1950 г.) он написал около 10 рассказов — для «Крокодила», «Огонька», «Лит. газеты», из них был напечатан, к его великой радости, лишь один в «Крокодиле», и он был так счастлив и горд этим «великим событием», такие надежды возлагал, полагая, что это — «первая ласточка», что теперь он снова будет систематически работать в журналах.

Но... надежды эти не оправдались, месяц шел за месяцем, а из редакций даже не отвечали на его письма с запросами о судьбе остальных рассказов, лишь в ноябре «Огонек» (Секундов)³ ответил, что рассказы ему не подошли, а из «Крокодила» он так и не дождался никакого ответа. Все это, естественно, ужасно его нервировало и волновало (С. 168), он не мог спокойно прожить в Сестрорецке больше 3-х дней — летел в город в надежде, что пришел долгожданный ответ из редакций или что будет звонок по делу.

Летом окончательно потерпела крушение его оперетта⁴ — в Горьком она понравилась, ее одобрили, затем была читка и обсуждение в Союзе и там, конечно, был крайне уклончивый, скорее отрицательный отзыв. В общем, она так и не пошла нигде.

И только переводы — снова Лассила⁵ — «Воскресший из мертвых», за который получена небольшая сумма денег, и новый роман Тимонена, за который, правда, ничего еще не получено, но переделка которого ему, после огромных трудов и волнений, вполне удалась, — принесли ему удачу и немного окрылили его...

В основном, первая половина зимы прошла у нас относительно спокойно — крупных «ссор» не было.

В конце декабря Михаил неожиданно уехал в Москву по вызову Фадеева. Перед отъездом он сказал, что относится ко мне хорошо. 24 декабря 1950 года прислал 350 р. С сопроводительным текстом: «Заплати квартиру приезд 28». Ни слова о делах и здоровье, что очень расстроило меня. 27 декабря — телеграмма: «Послал еще 250 рублей, задержусь до третьего получил срочную работу Крокодиле привет Михаил». 30-го декабря получила эти 250, в извещении было несколько слов: «Вера, посылаю еще немного 250. (Раньше послал телеграфом 350 — надеюсь, получила.) Задержусь в Москве до 3-го января, так как 3-го платежный день в «Советском писателе», а мне обещали заплатить по договору. Дали путевку (под Москву в «Малеевку»). Вероятно проживу там неделю. Привет Валюше и поздравляю с Новым годом. Если до 3-го будут деньги, пришлю еще. Михаил».

2 января 1951 г. — Поздравительная телеграмма — «Поздравляю тебя Валюшу вероятно задержусь еще неделю работаю Крокодиле телеграфируй получение денег Петрозаводска гостиница Москва Михаил».

3 января — повторная телеграмма: «Задержусь еще неделю для работы Крокодиле телеграфируй получение денег Петрозаводска. Если нет вышлю телеграфом адрес гостиница Москва Михаил».

10 января пришла последняя телеграмма: «Первых двух номерах Крокодила идут мои новые фельетоны подожду 16 получить гонорар приеду 18 Михаил».

С беспокойством ждала я его приезда — томили мрачные предчувствия, и они не обманули меня. Очевидно, «злой гений» — сестра Вера, которая теперь жила в Москве со своим «генералом», за которого она вышла замуж, — приложила все усилия, чтобы снова восстановить его против меня (С. 169).

Вернулся Михаил из Москвы, как телеграфировал, 18 января, вернулся чужим и враждебным мне, «приехал с новыми идеями» в голове: в Москве он был совсем здоровым, в Москве он вставал не позднее 10 часов утра, а, следовательно, я причина его болезни и его поздних вставаний. (Да, очевидно, это было чье-то «внушение».) А перед отъ-

ездом в Москву говорил, что относится ко мне хорошо, и все было спокойно.

Он стал какой-то мелочный, жадный, лживый. Любая моя самая «нейтральная» фраза вызывала у него грубый, язвительный, желчный ответ. И снова думалось: или это действительно болезнь?

Начались мелочные придирки, «неприятности из-за денег». Зачем купила светлые лампочки, зачем жгу газ, обогревая в большие морозы тридцатиметровую площадь, лишённую парового отопления? Когда указала ему на это и пояснила, что тут грошовая экономия, он стал упрекать меня, что я вообще всегда «выставляла» его, вымогала у него деньги и, чего, конечно, никогда не было, я даже никогда не знала, сколько он зарабатывает, и считала неудобным спрашивать его об этом.

Вторая неприятность — снова из-за денег, мне пришлось просить у него денег для уплаты за коммунальные услуги, на что он ответил, что я была обязана взять эти 100 рублей из денег, данных на еду — кормила Валю, его завтраками и обедами, себя. Когда же я заметила, что тогда у меня не хватит денег на еду до следующей его получки, он стал обвинять меня во всевозможных преступлениях против него. Будто я поставила себе целью или «сломить» его, заставить делать по-своему, или уморить, что я ему враг и причина его болезни, что я вообще ему никто — не родственница, не «родная», что в конце концов — я его убийца... Объяснить ему что-либо, разубедить его было невозможно... Это был какой-то бред...

А на другой день деньги, которые я просила, он все-таки швырнул мне на стол, и мне казалось, что у него начался какой-то «психоневроз» с деньгами, впрочем, неприятности из-за небольших моих «перетрат» на хозяйство бывали и до войны.

Вернувшись со своего обеда, Михаил сказал, что у него «очень плохое сердце», чтобы не было никаких разговоров, — а я и не собиралась ничего говорить.

Это время была занята срочной перепиской для него, затем читала для него перевод, несколько дней все было спокойно.

Но, когда я неосторожно предложила ему пообедать в виде исключения дома — Валя не приехал в тот день с работы из Сестрорецка, и у (С. 170) меня пропадал прекрасный телячий суп, сваренный накануне, — разыгрался очередной «скандал», и я опять оказалась «скандалистой», чужим человеком, «врагом» и, наконец, «его убийцей».

Все это было ужасно, и я совершенно терялась, не понимала, как на это реагировать, как расценивать эти дикие поступки. Если я была уверена, что это просто нелюбовь ко мне, что это — обыкновенная мужская подлость, я бы навсегда отвернулась от него, разошлась бы с ним. Но этой уверенности у меня нет — я вспоминаю его книгу, его «психоналитические» записи, всю его жизнь — это болезнь, психоневроз...

А вечером же, когда я вернулась из магазина, куда ходила за продуктами для него, и спросила — нужно ли приготовить ему чай, ответил утвердительно и с удовольствием ел бутерброды с ветчиной, которую я купила специально для него. Причем как-то ужасно трогательно и жалостно попросил — «дай еще с ветчинкой»... и я забыла все свои обиды, как-то опять его пожалела, как-то успокоилась и решила делать все, что от меня требуется, чтоб не было поводов для ссор и недовольства, чтобы он был спокоен...

И десять дней прошли спокойно, и печатала ему несколько дней, проверяла, корректировала, все было тихо и спокойно, и после моей «ванны» снова была «близость», все было нормально.

Но 15 февраля снова чуть было не вышла неприятность — мне пришлось оставить на одну ночь вычищенный свой ковер в углу у двери в его комнату — убрать его вечером мне помешал совсем мне ненужный и неприятный приход бывшей жены сына, которая отняла у меня больше часу своей глупой болтовней. И вот Михаил стал ворчать, что около его двери «помойная яма», хотел придрататься, что я нарочно это делаю, чтобы заставить его обменять квартиру, говорил, что это моя всегдашняя система или тактика, но я «не подалась на провокации», смолчала, убрала ковер, прибрала этот «угол», и все обошлось.

С неделю неприятностей не было, только был недоволен — зачем я в большой проходной передней устроила «столовую» и вечером сидела там и читала старую «Ниву», был недоволен, очевидно потому, что «столовая» была ближе к его комнате, чем моя.

А потом опять — «неприятность из-за денег». Объявил, что у него нет денег для оплаты газа и электричества, а когда я спросила, куда же он дел те 390 рублей, что оставил себе из последних денег, — произошел «взрыв», но я даже не слишком реагировала на его слова и его оскорбления, ушла из комнаты и стала читать французские сказки.

Но было ужасно, что ничего нельзя изменить, объяснить, понять... И казалось, что все зло от «Маришки» и «Верки», что это они (С. 171) внушили Михаилу его злые мысли.

Ведь все его обвинения — вздор, неправда, таких мыслей никогда не было у меня. Конечно, его злые, несправедливые, жестокие слова приводили меня в отчаяние, я плакала, и он говорил, что мои слезы мешают ему работать. Когда же я просила удалить причину моих огорчений, изменить его отношение ко мне, он кричал, что — это шантаж. Называл меня скандалисткой, шантажисткой, своей убийцей. И разубедить его, оправдаться перед ним было невозможно.

У него появился страх передо мной; когда я вхожу в его комнату, у него начинаются «спазмы». Я невольно ассоциировалась у него только с неприятностями, и я ничего не могу сделать, чтобы разорвать эту «условную связь».

Он внушил себе мысль, что я хочу его обессилить, уничтожить, раздавить... А я хочу только ясности и доверия, простоты, сердечности,

чтоб не было подозрительности, лжи и вражды... Я любила и жалела его...

И я сделала попытку рассеять этот страшный туман наших недоразумений и непониманий, узнать причину, отчего его отношение ко мне с каждым днем все ухудшается, поговорить откровенно. Но из «моей» попытки ничего не вышло, кроме дикой сцены с потоком оскорблений, угроз, нелепых лживых обвинений... Он схватил меня за лицо, хватал за шею, выталкивал из комнаты».

И мне стало казаться: «он — или сумасшедший, или подлец. Надо отойти от него, оставить всякие попытки наладить жизнь, создать хорошие, близкие отношения...». Но, может быть, «это мания преследования», которая обернулась против меня?

Да, это была самая «страшная зима» нашей жизни с ним. Шел уже март месяц. Я, действительно, прекратила с ним всякие разговоры и выяснения, не поднимала ни одного «выясняющего» разговора в течение 2-х недель, и вскоре же он, как всегда, сам потянулся ко мне за близостью...

И в, конце концов, я решила — не отказываться от того, что мне и самой было нужно и что давало какую-то «иллюзию» близости, любви... И все пошло обычным, проторенным путем.

Лето 1951 года

Как обычно, летом ссор у нас с Михаилом не было. Бывала даже часто физическая близость, но настоящей близости «душевной» все же не было.

Работал Михаил в тот год, главным образом, над переводами с украинского — Гаврилюк («Простодушный Папуа»),⁶ Петро Панч («Герой дня»),⁷ Натан Рыбак («В Карпатах»)⁸ и другие (С. 172).

1951 — 1952 гг.

Первые 2 месяца прошли спокойно, потом — снова «мои обиды»: не захотел исполнить моей просьбы — встретить со мной Новый год. Ушел, очень обидно ответил на мои слова «о том», что мне нужна только его любовь. И снова я стала думать: если я ему не нужна — лучше уйду, буду жить совсем одна, я не хочу портить ему жизнь. Если есть у него чувство ко мне, если я нужна ему, останусь и буду терпеть до конца все его странности, хочу только правды.

А потом была ссора, в которой на этот раз была виновата я. 24 января 1952 г. вернувшись с обеда, Михаил стал жаловаться на плохое состояние, считая, что болеет оттого, что работает много. Желая его успокоить, я указала на Форш — старуха, 80 лет, работает и не болеет.

Рассердился, стал гнать из комнаты, говорить обычные несправедливые вещи. Ушла. Пришел сам, стал говорить, что не знает, как спра-

виться с переделкой пьесы Лившица («Простой рабочий»),⁹ писать которую взялся ему помочь, говорил, что плохо себя чувствует, а надо еще писать для «Крокодила».

Сказала, что пьесу можно отложить, не торопиться с ней. Ответил, что Лившицы меняют квартиру, уезжают в Москву, а потому надо торопиться. Тут я необдуманно сказала, что хорошо бы нам получить, наконец, эту светлую, солнечную квартиру. Опять стал раздражаться: зачем я забиваю ему голову ерундой, когда он работает, и что та квартира ему неудобна, в этой он от меня за «каменной стеной», а там я буду рядом.

Обиделась и сказала, что тогда я сама буду меняться, пусть он остается один. Сказал, что я его нервирую, стал грубо бранить меня. Потом получилась неприятность из-за денег. Сказал, что я нарочно раздражаю его своими претензиями. И опять я не сдержалась, бросила: «Уеду, скоро освобожу тебя, остаешься один». И, конечно, на это опять упреки, брань, раздражение, угрозы... Когда я вечером зашла к нему предложить поесть — опять недовольство, опять — «я липну».

И, в конце концов, оказалось, что целый день не давала ему покоя своими «претензиями», когда у него в голове комедия, и он плохо себя чувствует и не может разговаривать и решать «проблемы».

Да, на этот раз я была неправа, ведь он сам пришел ко мне посоветоваться насчет переделки пьесы, не надо было заводить разговоры об обмене квартиры, не надо было «угрожать разездом».

Следующий месяц ссор и «скандалов» не было, я ничего не требовала (С. 173) от него, ничем не «докучала»...

Физически я чувствовала себя очень плохо. А денег снова не было. Наконец собралась с силами и написала ряд деловых писем: Тимонену¹⁰ насчет оплаты за перевод его романа, Кавериним, Шагинян.

Надежды получить деньги от дачницы в счет уплаты за дачу или занять у Нины Николаевны Сорокиной¹¹ рухнули. Решила обратиться с вопросом — что делать — к Михаилу. Утром сказал: «потом поговорим», а вечером стал возмущаться, как я осмелилась задать ему этот вопрос после «такой работы». Он ходил к Лившицу обсуждать законченную комедию («Простой рабочий»), которую помогал ему писать.

В конце концов я все же нашла выход — продала хрусталь, который до того берегла для Вали. А через три дня я писала: «1 марта 1952 г. Вчера неожиданно уступила Михаилу и помирилась с ним. Предложила ему “ультиматум” — если подпишет “соглашение” — наступит “мир”. Предварительно все же помирились. (“Соглашение” — это его согласие на обмен нашей квартиры с условием, что ему в ней будет предоставлена удобная изолированная комната.)

Я вижу, что он действительно хочет “мира”, не хочет ссориться и не хочет расходиться. И ведь он всегда первый, как было всю жизнь, идет на примиренье. Мою бумагу он подписал, и “мир” был восстановлен.

(Он, несмотря на все его жестокие, грубые и обидные слова, никак не хотел терять меня, не хотел, чтобы я “ушла”. Может быть, в глубине души, где-то “подсознательно” он любил меня, и я была ему нужна?)»

После нашего «примиренья» ссор у нас не было. По субботам Михаил стал уходить играть в преферанс к Груздевым,¹² это как-то отвлекало и успокаивало его. Работал он — кроме Лившицкой комедии — снова над переводами с осетинского: «Максим <Церарев> Цагараев «Повесть о колхозном плотнике...»,¹³ писал рассказы для «Крокодила»... Но все эти работы не удовлетворяли его.

Лето 1952 г.

Летом, как всегда, с Михаилом было «мирно».

Зима 1952—1953 гг.

Литературные дела Михаила по-прежнему были неопределенны. Всякая надежда на то, что он «поднимется», исчезла. Печатали его по-прежнему редко, большинство работ — «браковали» (С. 174).

«Он в это время был занят серьезной работой, на которую возлагал все свои надежды — писал большую книгу, которую считал «ответом» на «Постановление», называлась книга — «Что меня больше всего поразило».¹⁴ Книга была серьезная, «публицистическая», привлек он к работе массу «злободневного», газетного материала.

Но это, конечно, был не Зощенко, о чем и написал ему даже очень доброжелательно относящийся к нему Сергей Антонов, которому Михаил послал книгу для отзыва.

В это время, к тому же, была дана неожиданная «установка» Сталина — «Нам Гоголи и Салтыковы-Щедрины нужны». Работа Антоновым была забракована «как плохая публицистика». И это было огромным ударом для Михаила: и моральным, и материальным.

Жить, не имея почвы под ногами, без верного, определенного заработка, дольше казалось невозможно, невыносимо.

Подошел 1953 год

Этот раз Новый год мы встречали вместе с Михаилом. Он был печальный и безнадежный и, едва просидев 5 минут после встречи, вдруг вскочил и побежал куда-то — то ли к Груздевым, то ли к приехавшему из Москвы Всеволоду Иванову.

Материальное положение наше было ужасно — «третий месяц мы живем в долг — сначала дали Слонимские, потом — Каверины, под Новый год — Форш. Ужасно, постыдно, но другого выхода не было. Хоть бы дали перевод! К сожалению, на самостоятельную литературную дорогу он вряд ли сможет выбраться. Что-то он навсегда потерял.

Впрочем, сейчас писать по-настоящему просто невозможно, и с этим приходится примириться».

«Прошло еще два месяца... С книгой, к несчастью для Михаила, так ничего и не вышло. Но перевод какой-то ему дали — Демирчан (“Дом” с армянского). Но это, конечно, принесло только материальное успокоение, морального же удовлетворения не дало».

5 марта умер Сталин. Уже весной начался как-будто «поворот» в судьбе Михаила — даже Саянов стал советовать ему подать заявление об обратном приеме в Союз и даже дал ему свою «рекомендацию», настолько, впрочем, «смехотворную», что мы с Михаилом только посмеялись над ней, и она так и осталась лежать в его архиве — он ею не воспользовался, однако, заявление о приеме в Союз все же подал (С. 175).

Лето — 1953 года

«Самым важным событием лета был звонок Каверина¹⁵ из Москвы, сообщивший, что Михаила приняли в Союз. Конечно, это было большой радостью для нас, но это было только “платоническое” утешение, реально оно не дало ничего».

«Михаила приняли в Союз, просят работать и ждут его работы, но я не знаю — сможет ли он дать то, что нужно сегодня. Боюсь, что для этого у него не хватит здоровья».

Отношения наши были, как всегда летом, «мирными» и «спокойными» — без ссор, без мучительных, обидных разговоров.

Осенью — в октябре — я очень беспокоилась за Михаила. Я писала: «Я знаю — Михаилу сейчас очень плохо. Очень плохо. Он стар и устал, и его преследуют неудачи, и ему уже никогда не дожидаться победы.

У него впереди одни разочарования, неудачи и неприятности. Писать так, как нужно, он не может, а так, как он может, — не нужно. Он плохо себя чувствует и, может быть, недолго проживет. Мне очень-очень жаль его. Но помочь ему очень трудно, почти невозможно.

Надо постараться, чтобы издали хоть какую-нибудь книжонку его старых рассказов, чтобы это дало ему возможность отдохнуть, не работать несколько месяцев, прийти в себя, все обдумать и тогда, может быть, начать писать снова. Но удастся ли мне это сделать — не знаю.

Неужели впереди опять такая же, как прошлый год, ужасная зима — без денег, без заработка, жизнь на “милостыню”? Нищенство! Но спасти может только чудо! Только переиздание старых вещей и ничего больше! Другого выхода нет! Надо пробовать бороться за это!»

(И это мне удалось, в сущности, мои напоминания, мои письма, мои «долбления» принудили, наконец, его друзей начать хлопоты о нем, и осенью 1956 г. вышел, к великой радости Михаила, собранный им однотомник в «Советском писателе».)

1953—1954 гг.

Первые два месяца по переезде в Ленинград прошли спокойно, а потом, потом снова началось «непонятное». В конце декабря я неосторожно пожаловалась на плохое здоровье, усталость, бессонницу, одиночество — и на меня сразу же «напали» и Михаил, и Валерий, и опять я оказалась во всем виноватой, чуть ли не «преступницей». Конечно, расстроилась, и на столике мокрый платок (С. 176).

Новый год все же встречала с Михаилом, и внешне была даже ласковость с его стороны (казалось, я добилась своего — Новый год он стал встречать со мной). А в конце января снова «началось»...

Я все хотела, чтоб Михаил открыл мне свою душу, сказал правду. Я чувствовала, что за его наружной, внешней почти ласковостью кроется ложь, обман, что он таит что-то от меня, что он не весь открывается мне.

И вот я убедилась, что ни капли любви, ни привязанности, ни жалости у него нет для меня. Он считает меня вздорной женщиной, которая мешает ему работать. А за то, что я осмелилась мечтать об облегчении, хотя бы бытовых условий своей жизни, Михаил хочет уехать в Москву и жить там (очевидно, настраивала его на такое решение та же Вера).

И вот разговор с Михаилом (25 января), после которого мне показалось, что лучше умереть...

«Я не могу больше жить с человеком, который сказал мне, что я — “не играю никакой роли в его жизни, так же как и все его прошлые женщины”, что я мешаю ему работать, лишаю квалификации, что у меня “преступная натура”, что он не может есть из моих рук, потому что боится, что я дам ему яду, — я не могу и не должна жить с человеком, который видит во мне врага, у которого нет и не будет ко мне ни капельки человеческого чувства, ни капельки жалости и понимания, не говоря уже о любви».

Вот до такого невероятного отчаяния дошла я после этого с ним разговора. (Странно: какие бредовые мысли заходили вдруг в голову Михаила, ни с того, ни с сего... И, главное, все это было неправдой — все эти годы он спокойно «ел из моих рук».)

Я стала думать о том, что «надо разорвать, наконец, наши жизни до конца, стать до конца чужими, разъехаться, не встречаться. Стала думать: «Может, правда уйти к Тамаре?» (гимназической подруге, которая любила меня).

27 января Михаил действительно уехал в Москву... А накануне была близость... И перед отъездом он говорил, что я преувеличиваю, «из пальца высасываю неприятности», что я взвинчиваю (или накачиваю себя — не помню точно его выражения), что все хорошо и спокойно, — и я опять не могла ничего понять.

Но прибавил: «Я хочу дня три отлежаться, хочу, чтоб меня ничто не беспокоило, поэтому я не раньше, чем через 2 дня, сообщу о себе».

И он сдержал свое слово, а я, конечно, беспокоилась, не зная, как он доехал, как чувствует себя — ведь я так не хотела этого отъезда (С. 177).

4 февраля пришла телеграмма: «Все благополучно здоровье значительно лучше адрес гостиница Москва 844 привет Михаил». Вскоре получила письмо от 5-го февраля: «Вера, дела тут у меня идут довольно медленно. С однотономиком пока не удалось выяснить, так как Сурков¹⁶ уехал в отпуск. По кино дело тоже замедлилось. К сожалению, Пономаренко¹⁷ теперь на другой работе. Но все же студия как будто не против экранизировать два моих рассказа. По эстраде — благополучно. Скетч (для Мироновой и Менакер)¹⁸ принят, и на днях обещают заплатить.

Кроме того, на эстраде, действительно, разрешают читать мои старые рассказы. А актеры уже (успехом) начали это. Каминка¹⁹ сказал мне, что он читает (второй месяц) самые старые рассказы — такие как “Кино-драма” и “Баня”. Но перед выступлением говорит, что это о прошлой жизни. Смех (он говорит) огромный.

Пробовал я тут написать что-либо для “Огонька”, но пишется с трудом — все же здоровье сильно подорвано.

Порадовало меня то, что сейчас появился у меня аппетит. Я хорошо ем (обедаю у Веры). И та тошнота, которая меня мучила несколько месяцев, — исчезла. Это показывает, что явление было психогенного характера. Надеюсь, что это придаст мне силы, и я смогу работать.

В “Крокодиле” отношение очень хорошее, но работать для них трудно, так как они и сами не знают, что нужно и как достигнуть смеха.

В общем, ничего такого исключительного не произошло в Москве, да я и не рассчитывал на это.

Попробую поработать для эстрады, поскольку тут очень просят об этом. Пробуду в Москве числа до 18—20. Но, возможно, что после 12 перееду к Вере.

А вообще хорошо, что я поехал в Москву — это позволило мне убедиться в моих ложных болезнях. Да и режим я тут выправил. Встаю в 10, не позже 11. И чувствую себя гораздо лучше.

Конец февраля и март придется работать для Груздева. А потому надо бы еще немного заработать, что думаю сделать по эстраде.

Привет Валюше. Надеюсь, он ведет себя прилично.

Будь здорова. Михаил.

5 февр. 54» (С. 178).

«По приезде из Москвы (21 февраля) Михаил сразу же сказал мне, что он окончательно выяснил, что я “создала ему психоневроз с едой, со сном, со спазмами”. Я сказала ему, что постараюсь сделать все, чтобы освободить его от этого психоневроза: не буду входить в его комнату, буду ставить еду на стол в передней, не буду вести никаких длинных разговоров, буду стараться устранить от него все неприятное».

И вот, несколько дней я так и поступала.

А потом случилось непредвиденное — я забыла ключ от входной двери, и мне пришлось подняться за ним к Марине, где обедал Михаил. И, конечно, эта женщина опять позволила себе обидеть меня, а Михаил по возвращении домой набросился на меня чуть ли не с кулаками, стал замахиваться, толкать меня, кричать, что я преступница, что я довела его до психоневроза, лишила творчества и доведу до смерти, что он боится есть, чтобы я его не отравила, боится спать, чтобы я не убила его, что я, таким образом, лишила его сна и еды... А под конец объявил, что с Мариной у него нет никаких отношений, а что он живет с другой женщиной...

Я просто не знала — что мне делать, как реагировать на весь этот дикий бред? Думала даже посоветоваться с психиатром, хотя казалось мне, что это будет бесполезно.

Я считала, что настоящей «преступницей» была эта Марина, которая буквально «травила» меня, не понимая того, что он все равно не уйдет, не бросит меня, а что все эти неприятности и ссоры будут только подрывать все больше и больше его нервное здоровье.

Я не могла ничего понять — что же случилось с ним?

Ведь до войны он всегда говорил мне: «Я тебя по-своему люблю, ты мне нужна, я не хочу и никогда не разведусь с тобой, не обращай внимания на моих “женщин”, я мальчиком женился, я “святой” в сравнении с другими, вот К., как он любит свою жену, а ты посмотрела бы, что он делает в Москве...».

А перед самой войной он говорил: «Не понимаю, чем ты была недовольна, в конце концов, я всегда делал все по-твоему».

Во время войны он посылал мне такие заботливые, хорошие телеграммы и письма.

Меня очень обидела его последняя грубость, все его жестокие, ужасные слова. На какое-то время я «отошла» от него, не пытаюсь даже оправдаться перед ним, доказать ему его неправоту, так как знала, что в ответ получила бы «поток оскорблений».

А он продолжал упрямо твердить: «Ты создала мне психоневрозы, путем “насилия”, ты хотела сломить мою волю, но ее не сломила, а сломала (С. 179) мою “хрупкую психику”. Если бы я не поехал в Москву, я бы уже умер, я не мог есть, каждый кусок сопровождался страшной тошнотой, я уже думал, что у меня рак и хотел делать исследование».

(О тошноте он начал говорить всего дня за три до отъезда в Москву.) Снова он стал обвинять меня в том, что я не сказала ему о вызове в НКВД, чего я не имела права сказать, да и какое отношение это имело к моей «ломке» его, моему «насилию» над ним — я не могла понять.

Он говорил: «Я плохо ем, у меня нет аппетита (правда, тошноту я убрал, поняв, в чем дело, в Москве), я плохо сплю».

Но мне казалось, он плохо спит, потому что работает на ночь (а в Москве он не работал), нет аппетита — обычное явление в его воз-

расте, к тому же, он много курит, мало бывает на воздухе, да и нет в продаже особенно вкусных, располагающих к аппетиту вещей.

Очевидно, своими «психоанализами» он только закрепил «психоневрозы», сосредоточил на них свое внимание. А потом мне снова стало очень жаль его, я очень хотела быть ему другом, быть близкой, нужной, полезной...

Весна 54-го года прошла спокойно — я не касалась больше «запретных» тем, больных вопросов. Все неприятности, все нелепые, дикие ссоры прекратились. И у Михаила снова родилось «доверие» ко мне, он снова стал делиться со мной своими мыслями, рассказывать о своих делах. Возобновились и физическая близость; как всегда, он первый подошел ко мне. И, как всегда, я не в силах была ему отказать, не могла, да и не хотела противиться его желанию, этой «иллюзии» любви... Все было спокойно.

А потом произошло одно обстоятельство, надвинулись неожиданные события — снова тяжелые и неприятные, которые как-то очень сблизили нас, переживала я их вместе с ним, старалась успокоить его, как могла.

В конце апреля я переехала в Сестрорецк, но уже 5 мая, в день Валиного рождения, я поехала в Ленинград. Только вошла в квартиру, Михаил меня встретил упреком — почему я приехала так поздно...

Отвечаю, что еще не поздно, и я успею все приготовить к вечеру, когда придут Валины гости.

Говорит: «Да нет, я не о том... Мне хотелось с тобой посоветоваться... Дело в том, что мне звонили из Союза, просят, чтобы я обязательно пришел вечером. Приехали какие-то английские студенты,²⁰ явились в Союз, просят показать им “могилу Зощенко и Ахматовой”. Им, конечно, ответили, что могут показать их живыми и невредимыми... Вот, и звонила Катерли,²¹ просила меня обязательно быть (С. 180), а я чувствую себя плохо и идти мне туда совсем не хочется». Отвечаю: «Ну и не ходи, тем более, что сегодня Валино рождение, будут его гости, было бы хорошо, если бы ты к ним вышел». Михаил согласился со мной, но через некоторое время снова зовет меня в свою комнату, говорит, что снова звонила Катерли, просит «живым или мертвым» быть на этой встрече, так как иначе получится крайне неловко и не политично. Одним словом, буквально через силу, но придется волей-неволей идти...

Когда он поздно вечером вернулся из Союза, снова позвал меня... Лежал он на постели, по своему обыкновению, и очень как-то озабоченно сказал мне: «Знаешь, как меня подвела Ахматова? Эти мальчишки спросили меня, как я отношусь к Постановлению ЦК? Я ответил, что не согласился с Постановлением и объяснил почему; мои рассказы писались тогда, когда советского общества, “советских” людей, в сущности, еще не было, и я писал о “мещанах”, оставшихся от прежней

жизни, так что клеветы на “советских людей” в моих рассказах быть не могло». (Одним словом, Михаил повторил все то, что писал в свое оправдание Сталину.)

«Ты понимаешь, не мог же я сказать, что я согласился с тем, что меня назвали хулиганом, подонком, клеветником, трусом и чуть ли не вредителем. Студенты устроили мне настоящую овацию. А когда они обратились с этим же вопросом к Ахматовой, та ответила только — “А я согласна с «Постановлением»” и села. Никаких аплодисментов — гробовое молчание. А когда секретарь парторганизации Луговцев спросил их: “Что же вы так приветствовали Зощенко и не приветствуете Ахматову?” Ответили: “А нас ее ответ не удовлетворил”. Я спросил Луговцева — не сделал ли я какой “накладки” своим ответом? Тот сказал, что, конечно, можно было бы ответить несколько иначе, но, в общем, ничего».

Вся эта история очень взволновала Михаила. Я стала его успокаивать, сказал: «Видишь ли, надо было, конечно, сказать, что ты полностью согласен с той частью Постановления, в которой говорится о том, что литература должна быть идейной и т. д., но не согласен с той частью, которая относится лично к тебе. Тогда было бы правильно.

Но ничего “страшного” нет — во всяком случае, ты доказал этим английским мальчишкам, что у нас в Советском Союзе — “свобода слова и демократия” (С. 181), так что ты не волнуйся, твой ответ на пользу нам».

Михаил покачал головой и сказал, что он все же беспокоен, пожалуй, может ожидать для себя из-за этого ответа снова неприятностей. Так и случилось. В газетах немедленно появилась статья, в которой его упрекали в том, что он, вместо того, чтобы «перестроиться», оказывается, не согласился с Постановлением ЦК и скрыл это от товарищей.

За первой статьей последовали другие, в том числе резкая статья Ермилова,²² который когда-то хвалил «Голубую книгу». Эта статья особенно обидела Михаила.

Был назначен пленум в Союзе писателей, на котором товарищи должны были обсудить это дело. Конечно, Михаил волновался перед этим пленумом.

Все эти неприятности очень сблизили нас, я снова стала ему нужной и близкой. Ночи напролет просиживала я у него в комнатке в Сестрорецке, и мы вместе обсуждали, как и что должен он сказать товарищам.

Я считала — раз писатели дают, наконец, ему право высказаться, он должен «не просить прощения», а доказать, как несправедливы были все выдвинутые против него обвинения, то есть повторить все то, что он писал Сталину.

«И про “диалектику” скажи, и про “обезьяну”, и про то, что заставили уехать из Ленинграда, про все скажи им прямо и бесстрашно», — твердила я.

Михаил соглашался со мной и даже набросал «тезисы» его предполагаемых ответов пленуму. В середине июня состоялся этот пленум, на котором Михаил бесстрашно ответил писателям на все их обвинения. Прежде всего, он сказал, что никогда не скрывал своего несогласия с докладом Жданова, о чем сразу же написал Сталину, — «и товарищ Сталин мне головы не снес, наоборот — дал указание печатать».

Но здоровье Михаила было слишком подорвано, нервы не выдержали и, как он сам мне рассказывал, говорил он крайне нервно, возбужденно и закончил свою речь почти истерическим выкриком: «Если такое ко мне отношение, то не надо мне ни вашего Союза, ни вашего Дружина!».²³ И, в состоянии, близком к обмороку и сердечному припадку, выбежал из зала.

За ним бросилась Катерли и другие товарищи — отпаивали водой, валерианкой — боялись, как бы он тут же не умер на месте. Все это было ужасно. Я всеми силами успокаивала Михаила, но, конечно, он продолжал волноваться и ждать для себя «новых бед» (С. 182).

К счастью, я, «как всегда», оказалась права: в английских газетах вскоре появились широковещательные заголовки — «В России свобода слова и демократия. Зоценко не согласился с Постановлением ЦК! Открыто заявил об этом!». Одним словом, ответ Михаила, как я и предполагала, действительно, пошел нам на пользу.

7 сентября в «Известиях» появилась статья «Факты опровергают клевету», в которой говорилось о том, что разговоры с советскими людьми развеяли английскому студенчеству выдумку о том, что в Советском Союзе не может вестись свободная дискуссия. После этого, естественно, все нападки на Михаила были прекращены и «дело с английскими студентами» было предано забвению.

Но лето нам было испорчено, здоровье Михаила было подорвано окончательно. Мне было очень жаль его — у него в жизни ничего, кроме бесконечной работы, без всякой уверенности, что она будет оценена должным образом, что даст ему какое-то признание в литературе, а, следовательно, и в жизни, даст покой, отдых...

Он работает как каторжник, как поденщик, лишь бы выколотить копейку на скучную, полунищую жизнь: денег едва хватает на самые насущные нужды — еду, оплату квартиры, отопления и «коммунальных услуг». Ни материального, ни морального удовлетворения от работы нет. И нет гарантированного заработка, нет никакой почвы под ногами, никакой уверенности в завтрашнем дне.

Вообще, совершенно непонятно, как он выдерживает еще! После такой «славы» — «у меня мировое имя», — говорил он, такого успеха, «величия» — такое «падение», такое «изничтожение». После полной обеспеченности — такая нищета!

Как от всего этого он еще не сошел окончательно с ума — непонятно. Михаила очень жалко, и тем трагичнее, что я ничем не могу помочь ему, не могу поддержать его.

Но больше всего беспокоило меня состояние здоровья Михаила: слишком оно было подорвано в результате всех ненужных волнений и переживаний минувшего лета.

И я написала об этом его товарищам — Каверину и Федину. В ответ на это Михаилу была предоставлена путевка в санаторий в Сочи на декабрь.

Я прожила в Сестрорецке до 14 ноября. Михаил изредка наезжал ко мне, приехал и на мои именины 30 сентября, привез мне даже коробку шоколадных конфет при скудных наших средствах (С. 183), потратил деньги на эти дорогие конфеты, думая доставить мне удовольствие.

Но очень беспокоил и огорчал меня он. Никогда не выглядел он так плохо, как теперь. Он стал совсем стареньким, жалким, больным, и я простила ему все прошлые обиды и не могла сердиться даже за настоящее невнимание и несправедливость порой. Он очень больной и несчастный, и мне так жаль его. И так беспокойно за него.

Больше нет никаких надежд на возрождение, на «реабилитацию», на возврат прежнего положения. Поиски грошовой работы, старость, болезни и смерть — вот его удел. И это было ужасно. Какое-то беспокойство и страх за него, за его здоровье, жизнь. Хотелось бы быть ему полезной и нужной, а как и чем, и возможно ли это вообще — не знаю, так и не знаю совсем. <... >

Те короткие минуты физической близости, которые бывают у нас и которые дают мне какую-то иллюзию счастья, — не знаю, что дают они ему?

И вот, наконец, 15 ноября я переехала в город. И через два дня совершенно неожиданно — снова нелепая ссора с Михаилом. Я только неосторожно снова спросила его об отношении к Марине — и в ответ его крики, угрозы, нелепые несправедливые, обвинения и опять ясное сознание, что я ничего не могу сделать, ничего не могу исправить, изменить, наладить. Слова бессильны. Мне очень больно от этих незаслуженных оскорблений! Ведь я так искренно жалела его, беспокоилась за него все это лето, хотела ему помочь. И все напрасно! Я бы охотно отошла в сторону, вычеркнула бы его из своей жизни, но он такой старый, больной, несчастный, я не могу этого делать. Но я знаю — пока стоит между нами «Маришка» — отношения наши никогда не наладятся. Никогда.

И не могут они наладиться, потому что она ему друг (если не любовница, как он уверяет), он видит в ней помощь и поддержку, с ней он делится мыслями и планами, а для меня уж ничего не остается.

Но я не могу понять одного — почему он с такой бешеной злобой отрицает это, почему он кричит, что она для него ничто, никакой роли не играет? (С. 184).

Я хочу только правды! Я не могу поверить, что он ходит к ней только потому, что рассчитывает на ее моральную поддержку в случае безвыходного положения! А может быть, относиться к нему нужно как

<к> нервнобольному, потакать ему во всем и ничего не требовать от него?

Так я и поступила, и новых неприятностей с Михаилом до его отъезда в Сочи не последовало, а из Сочи он посылал мне телеграммы и письма, в которых подробно рассказывал обо всем.

Вот эти телеграммы и письма:

1. Телеграмма из Сочи от 8 декабря 1954 г.: «Санаторий отличный совсем тепло ходим без пальто здоровье неважное видимо затронуты легкие письмо пошлю привет Михаил».

2. В письме от 9 декабря 1954 г. он пишет: «Вера, в Сочи, конечно, чудесно. Солнце. Зелень. Тепло. Вчера было даже жарко. Все без пальто. Солнце такое, как у нас в начале августа. Сочи я вообще не узнал за 15 лет. Новые отличные дома, мол, пристань. На улицах всюду пальмы. Совершенно южный, европейский город.

Санаторий мой великолепен. Комнату мне отвели более чем роскошную — с золотыми бархатными порттьерами, с коврами и с балконом на море. Уход и забота удивительные, ко мне в особенности. Весь медперсонал побывал у меня. Но по моему характеру такое внимание не так уж приятно.

Еда отличная — дают, что хочешь, можно заказать любое блюдо. В общем здесь отлично. Но со здоровьем печально. Впервые за много лет я позволил себя обследовать. И по встревоженным лицам врачей понял, что дела мои неважны.

Оказалось, что мой порок сердца осложнился “мерцательной аритмией”, истощение полное (дистрофия) и что наиболее всего меня удивило — слабые легкие. В правом легком катаральное состояние. Доктор сказал, что надо просвечивать, чтоб разобраться. Стал ставить градусник — к вечеру совсем легочная температура — 37,3. Так продолжалось 4 дня. Но сегодня — 36,9. Это дает надежду, что процесс небольшой и прервется.

Но придется беречься и главное — есть. А с этим делом плохо. Правда (уже с поезда), у меня не было тошноты. И отвращения к еде. Но заставить себя много есть не могу. Видимо, длительная привычка отучила меня от нормальной еды. Нельзя, нельзя было так воздействовать на мою уязвимую и в (С. 185) сущности больную психику! В молодые годы я “уходил” в легкие невроты — спазмы, перебои. А ведь тут возник тяжелейший неврот, который нарушил все мои жизненные функции и так подорвал силы, что вряд ли я смогу вернуться к прежнему нормальному состоянию.

Тут вся беда в том, что именно *еда* была наиболее слабым и уязвимым местом моего психоневроза».

(До войны никакого «психоневроза с едой» у него не было. Думаясь, что этот «психоневроз» он себе придумал, стараясь понять свою болезнь путем «психоанализов» в период работы над «Перед восходом солнца», главным образом в эвакуации. А так как дальнейшие собы-

тия — «удары» <19>43 и <19> 46 годов как будто подтвердили правильность его «домыслов» и «догадок», психоневроз этот закрепился и, в конечном итоге, погубил его. — В. З.)

«Врачи с ног сбились — не знают, как мне вернуть нормальный аппетит. Одно ясно, что и тут слишком обильная еда приводит меня в смятение. Но все же радуюсь, что аппетит (небольшой) имеется, а ведь полтора года я мучился и ел насильно.

Большую часть дня провожу в постели — слаб, и врачи посоветовали пока лежать, тем более, что ходить тут не так-то просто — горы. И даже до моря не дойти. Вернее, не подняться вверх. Надо ждать машину, которая ходит каждый час. Возможно, что некоторую пользу принесет мне эта поездка в Сочи. Но поправиться за один месяц, конечно, нельзя.

Слишком большие дефекты и разрушения.

Вообще-то жил уже долго и умирать вовсе не страшно. Но вот от чахотки не хотелось бы, противно.

Буду рассчитывать, что легкие как-нибудь подправлю.

Работать здесь вовсе не могу, да и не насилую себя. Досидеть до конца не так-то легко. Но попробую. В Москву же пока решил не ехать по нездоровью.

Вот все, что пока могу сказать о себе.

Ежели будешь писать, то коротенько — несколько строк, чтоб не взбудоражить меня — принимаю лекарство, и здесь мне (по нервам) спокойней.

Будь здорова. Целую.

Привет молодежи — Вале и Гале. Михаил.

9 декабря».

На полях: «Оказалось, что за 13 лет я потерял 7 кило. Для меня это (С. 186) — чудовищно... Сейчас я хочу вернуть хотя бы 2 кило — этим я уйду от дистрофии».

3. Телеграмма — 14 декабря <19>54 г. (в ответ на мою, сообщавшую о письме Цагарева, который предлагал ему перевести с осетинского языка его книгу о Кирове). «Здоровье лучше погода отличная письме Цагарева отвечу конце декабря привет Михаил».

4. А потом — тревожная телеграмма — от 20 января 19<54> г. «Письмо получил здоровье неважное послал Прокофьеву телеграмму Москву вернусь домой начале января привет Михаил».

5. Письмо от 23 декабря <19>54 г.: «Вера, я уже не без труда выдерживаю санаторный режим. Раз два собирался ехать обратно, но заставлял себя пробыть до конца.

Надеюсь на то, что санаторий даст результаты не сразу, а спустя месяц — так говорят врачи. Надо сказать, что пока ощутимых результатов нет. Ем с неохотой, а иной раз и с тошнотой, если врачи на меня “нажимают”.

Сердце тоже нехорошо работает. Так что все больше лежу на балконе, мало хожу. Да и некуда — море далеко, надо к берегу спускаться метров 300. В этом отношении санаторий не особенно мне приятен. Уж очень высоко над морем. Днем ходят специальные автобусы, а если пешком, то надо только на спуск потратить минут 20. В общем, вряд ли я еще раз захотел бы сюда приехать. Питание здесь обильное (уж очень много дают еды), а мне это ни к чему.

Лечение — ванны и всякого рода процедуры — хотя и дало мне некоторое успокоение нервов, но большого перелома не сделало. Однако, анализы и исследования показали, что никаких серьезных болезней (кроме сердца) у меня нет. И все дело в истощении, которое подорвало мои силы весьма значительно.

Весу я пока не прибавил, но врачи обещают, что прибавка в 1 кило (или 1,5) непременно будет. В общем, улучшение идет с трудом. И причина этого — не совсем хорошо на душе. Мрачновато. Пробовал было работать, но пока ничего не получается. Решил пробыть здесь до конца путевки. Заказал билет на 31. Но сегодня выяснилось, что расписание поездов изменили и теперь (С. 187) из Сочи на Ленинград будут ходить поезда не через день, как было, а только 1 и 2 раза в неделю.

Так что придется ехать через Москву (Москва — Сочи), что мне не особенно приятно, так как сейчас не хотелось бы задерживаться в Москве — нет настроения для этого, да и здоровье все же нехорошо. Но если задержусь в Москве, то не более 1—2 дней. Во всяком случае, рассчитываю быть в Ленинграде не позже 4—6 января. За съездом я не следил и газет почти не читал, но, говорят, что меня никто не затрагивал — а это уже хорошо. Итак, до скорого свиданья. Михаил.

Привет Вале и Гале. И поздравляю с Новым годом. Сюда больше не пиши, так как числа 30—31 я, видимо, уеду. М.».

6. Телеграмма — 31 декабря <19>54 г. «Здоровье лучше письмо послано приеду 4 или 5 позвоню вокзала поздравляю с Новым годом Михаил».

Состояние его здоровья обеспокоило меня, и я написала письмо его лечащему с просьбой откровенно сообщить мне о нем, посоветовать, как и чем нужно его лечить.

Вот что ответил мне врач, Зинаида Степановна Гамеева:

«27 декабря <19>54 г.

Уважаемая Вера Владимировна!

Сообщаю Вам интересующие Вас сведения о состоянии здоровья Михаила Михайловича. Я являюсь лечащим врачом М. М. и наблюдаю за ним с 5 декабря, то есть со дня приезда его в санаторий.

Свое сообщение начну с самого начала. На первом приеме М. М. заявил мне, что он в разладе с медициной и не хочет поэтому обследоваться в санатории и проходить врачебный осмотр.

Из курортной карты я узнала о том, что он страдает пороком сердца с нарушением ритма. Осмотреть себя детально он мне не разрешил,

говоря, что при приближении врача у него появляются спазмы. Все же мне удалось выслушать сердце и проверить пульс.

По законам санатория мы обязаны полностью обследовать б-х <больных> в первые 2—3 дня. Мих. Мих. категорически отказался от обследования, и лишь на 9-ый день мне удалось взять у него мочу и кровь на исследование. Как потом мне стало известно, в течение 7—8 дней у него были колебания оставаться ли ему в санатории или уехать домой, затем он решил все же остаться, и вот на 9-ый день я его частично обследовала.

От других обследований (рентген, электрокардиограмма) категорически отказался. Кровяное давление я смогла измерить только после 2-х (С. 188) недельного пребывания, после многих уговоров. Данные обследования показали, что у М. М. имеется резко выраженное истощение, характера элементарной дистрофии, комбинированный митральный порок сердца, осложненный мерцательной аритмией. Кровяное давление 145—150/90. Анализ крови и мочи без особых отклонений. Биохимические анализы крови выявили небольшое снижение уровня сахара в крови, небольшое повышение остаточного азота, нормальное содержание холестерина в крови. Вначале Мих. Мих. категорически отказывался от всего, что ему предлагали для лечения (вливания глюкозы, желудочный сок, консультация невропатолога). Затем, со второй недели, начал принимать глюкозу (в порошках) и аскорбиновую кислоту.

Я ежедневно беседовала с ним на обходах, и у меня создалось впечатление, что у него происходит большая внутренняя борьба 2-х сил, рассудка и воли, с одной стороны, и подсознательных сил — с другой. Это борьба очень тяжелая, и часто она его заставляет отказываться от того, что ему полезно.

Сам же он говорит, что последнее время вел борьбу со здоровьем, то есть боролся за болезнь, за то, чтобы не быть здоровым, сознательно подрывая свое здоровье неправильным режимом. Последнее время у него появилось желание быть здоровым, и это меня радует.

Вас интересует, как изменилось его состояние за это время. Можно сказать, что есть определенный положительный сдвиг. Он чувствует себя значительно бодрее, нет того резкого упадка сил, отвращения к пище, улучшился сон. Кушает он больше, по его определению — вдвое больше, чем дома. До 20 декабря прибавил в весе 1,3 кг.

Главное, по моему мнению, это то, что у него сейчас желание бороться за восстановление здоровья, чего не было раньше.

Вы понимаете, что при таком исходном состоянии души и тела, при выключении 8—10 дней, ушедших на колебания, как я уже Вам писала — быть или не быть в санатории, больших положительных результатов ожидать нельзя, так как срок очень мал, но главное — это благоприятный перелом психики, а остальное приложится после.

Вы спрашиваете, следует ли ему оставаться в санатории еще? Я ему об этом говорила несколько раз еще до получения Вашего письма, но он категорически отказывался, говорил, что он больше не может и дальнейшее пребывание будет без пользы.

Конечно, ему здесь скучно, он живет один, ни с кем не общается, разговаривает только во время обеда и завтрака с соседями по столу, а ужинает дома один (по желанию).

Мне думается, что все же он получил здесь стимул к благоприятным сдвигам, только в дальнейшем дома нужно закрепить и строить режим (С. 189) его по типу санаторного в течение нескольких месяцев. Главное, ему нужно усилить питание, дойти до нормы веса или приблизиться к ней, а это вопрос не одного, а многих месяцев, многих усилий, соответствующего питания и режима дня, чтобы дома кто-то из его приятелей-врачей или профессоров был с ним в контакте и помогал ему советами, наставляя на то, что ему полезно.

Много волнений причинил ему съезд писателей. Вообще Мих. Мих. очень впечатлительный, легко возбудимый больной, и маленькая причина легко выводит его из равновесия.

Конкретно: что нужно дома для Мих. Мих.

1) Регулярное питание 4—5 раз в день, небольшими порциями с ограничением мяса, яиц и соленья.

2) Достаточный сон — 7—8 часов (ложиться спать не позднее 11 часов).

3) Быть на воздухе не менее 2—3 часов в день.

4) Принимать глюкозу, аскорбиновую кислоту; если не глюкозу, то побольше сладкого.

5) Избегать всяких раздражителей нервной системы (по возможности).

6) Прекратить курение.

Просьба к Вам, Вера Владимировна, написать мне спустя 5—6 недель, как себя будет чувствовать Мих. Мих. и какой режим будет держать дома. Буду очень признательна Вам.

С приветом, уважающая Вас З. Гамеева.²⁴

Р. С. М. М. не знает о нашей переписке. Если Вам понадобятся еще какие-то сведения, пишите, с удовольствием отвечу Вам всегда».

Я, конечно, была очень благодарна ей и постаралась, насколько это возможно, следовать ее советам. Во всяком случае, я начисто прекратила всякие волнующие Михаила разговоры, и зима прошла у нас спокойно.

Михаил приехал, как и обещал, в начале января. Все было хорошо.

А вскоре я совсем случайно сделала одно «открытие», которое как-то даже несколько успокоило меня.

Убирая, как обычно, комнату Михаила, я наткнулась сначала на «Маришкину» телеграмму, посланную в Сочи: «Каком году прикажете ожидать целую Марину».

И это слово — «прикажете» — показало мне, что отношение к ней Михаила далеко не идеальное, и даже это ее «целую» не слишком задело меня. А потом попались мне 2 письма. Возможно, Михаил умышленно (С. 190) оставил их «на виду», чтобы разубедить меня в моих «подозрениях» насчет «Маришки».

Оба этих письма были получены им в Сочи.

Одно было от «Маришки». Правда, оно говорило достаточно красноречиво о том, что их отношения были достаточно близкими, но, тем не менее, оно не расстроило, а скорее позабавило и насмешило меня: написанное на вырванном, очевидно, из школьной тетради сына клочке бумаги, отвратительным почерком, ужасным слогом и с рядом орфографических ошибок, оно подтверждало мои догадки о том, что такая женщина может быть для Михаила только «кухаркой», выручающей его из беды.

А второе письмо совсем меня удивило и насмешило еще больше.

Было оно тоже от женщины, причем, она писала: «Я очень сентиментально поцеловала твою подпись на письме». И этот «поцелуй» подписи уж никак не говорил в ее пользу — достаточно пожилой женщины.

И обе женщины целовали, и обе желали вернуться «толстым» и «толстеньким».

Я поняла, что эта «вторая», очевидно, тоже как-то близкая Михаилу женщина была той самой, о которой он сказал мне во время нашей ссоры в феврале 1954 г., когда уверял, что с «Блейман» у него нет никаких отношений, а что он «живет с другой женщиной»...

Позднее я выяснила, что это, действительно, была она, моя тетка, Вера Владимировна З.

Все это казалось мне странным и непонятным; знали ли эти женщины о существовании друг друга? Или (скорей всего) обманывались, и каждая из них думала, что она — «единственная»?

Но совершенно ясно одно — никакой «любви» к ним, двоим сразу, у Михаила, действительно, не было, и я только напрасно так мучила себя и его своими «подозрениями»!

«Литературные дела» Михаила налаживались с трудом. 1955 г. по-прежнему оставался напряженным, трудным; несмотря на то, что нападки на него в газетах больше не повторялись, отношения к нему в Союзе писателей и в издательствах по-прежнему оставались какими-то недоверчивыми, настороженными, а порой даже почти враждебными.

Таким образом, работать ему это время приходилось снова преимущественно над переводами, что, конечно, никак его не могло удовлетворить.

В эту зиму я решила твердо во что бы то ни стало обменять нашу, такую неудобную для нас всех, в том числе и для Михаила, квартиру, которую «подсунула» нам Кетлинская.

В результате долгих хлопот я обменяла, наконец, ненавистную мне квартиру Кетлинской на двухкомнатную квартиру № 119 для нас с Михаилом и комнату № 118 в квартире рядом (С. 191).

Обе эти квартиры находились в нашем доме, по той же лестнице, только этажом ниже. Мы с Михаилом получали хорошую квартиру с окнами на бульвар, на запад, так что солнца тут было больше. Михаилу его комната очень понравилась, он был ею очень доволен, даже говорил, что это — самая хорошая и приятная для него комната из всех, которые он когда-то занимал.

Все было хорошо и спокойно, а когда я в конце весны неожиданно заболела — появились какие-то боли в спине, Михаил даже был очень обеспокоен этим и проявлял по отношению ко мне неожиданную заботливость.

Лето 1955 г.

Отношения с Михаилом, как обычно летом, были хорошие и спокойные. Но были опять волнения и тяжелые переживания в связи с делами Михаила. Было недоразумение с переводом, который должен был получить Михаил. Письмо от директора издательства пролежало месяц на старой квартире, и неполучение этого письма дало повод Михаилу думать, что ему отказывают во всякой работе вообще, что, конечно, страшно волновало его. Пришлось мне по этому поводу писать и Каверинным, и Федину. В конце концов все как будто наладилось.

Михаил написал заявление в Союз писателей, и секретариат вынес постановление — обеспечить его переводческой работой, которую он и получил вскоре. Кроме того, выдали ему безвозмездное пособие в пять тысяч. Но Михаил так плохо чувствовал себя и, действительно, так плохо выглядел — стал совсем стариком, — что в душе у меня не гасла неумная за него тревога.

С осени, после того как в конце сентября он уехал в город уже больным, простуженным, он больше уже не приезжал в Сестрорецк, не приехал даже на мои именины, но прислал мне «хорошую записку»: «Веруша, поздравляю с именинами. Посылаю 300. Подарок за мной, когда вернешься в город. На этот раз обязательно. Сегодня сердце у меня лучше, но насморк еще сильный и кашляю. Пришли мне с Валюшей баночку варенья черносмородинового. Целую. Михаил. P. S. По-моему, тебе очень долго нет расчета сидеть в С. За 2-3 недели вряд ли поправишь здоровье, а простудиться можешь. Если я буду поздоровей, то приеду на той неделе. М.».

Казалось бы, можно было мне быть спокойной. А я снова стала думать, что Михаил серьезно привязан к Марине, привязан настолько, что не может выдержать без нее больше 2—3 дней и поэтому не может жить в Сестрорецке все лето, несмотря на то что только длительное

пребывание там, на воздухе, на хорошем свежем питании, могло бы (С. 192) помочь ему восстановить здоровье и силы.

Но, когда я высказала ему это свое предположение, он его, конечно, с негодованием и раздражением отверг.

Но в глубине души я продолжала оставаться при своем мнении. Лишь много позднее я поняла, что я заблуждалась и что Марина в это время действительно не играла в его жизни особой роли, во всяком случае, любви к ней у него не было. Два письма, которые попали позднее в мои руки, говорили за то, что в его жизнь в это время вошла совсем другая женщина. Письма эти были ее ответом на его осеннее письмо, в котором он сообщал ей о своей простуде (в конце сентября <19>55 года).

И была эта женщина та самая Вера З., письмо от которой в Сочи я уже знала. Письма эти были тоже достаточно сентиментальны. Так она, например, писала: «Мишеничка, я нам на счастье собираю “куриных богов”. Это камни с дырками, которые могут носиться в качестве ожерелья. Говорят, счастье обеспечено». Второе ее письмо заканчивалось так: «Дорогой, очень хочу, чтоб ты был кругленький к моему приезду».

Впоследствии, во время болезни Михаила в 1957—<19>58, году она часто звонила ему по телефону, и я сама предложила Михаилу попрощать ее навестить его.

Была она немолодая, неинтересная, сентиментальная женщина. Она, очевидно, серьезно любила Михаила, заботилась о нем и, кажется, даже материально ему помогала. В последние годы она неоднократно навещала его. Держала она себя всегда тактично и вежливо, свои отношения к Михаилу не афишировала, так что о них со стороны я ничего не слышала, а потому против нее я никогда ничего не имела, на ее телефонные звонки отвечала всегда любезно, любезно же и встречала ее у себя.

Были ли у него какие-то близкие, «интимные» отношения с ней — сказать не могу, очевидно, в начале февраля <19>54 г. и было что-то. Но любви к ней, к этой пожилой, некрасивой сентиментальной женщине, с его стороны, конечно, быть не могло.

Но ему нужен был «друг», нужна была забота, внимание, и как друга, конечно, он очень ценил ее. Марина же была нужна ему тоже как друг, как человек, от которого он ждал «помощи». А я не понимала, не могла этому поверить и только напрасно волновала Михаила своими «подозрениями» насчет «Маришки».

Зима 1955—56 г.

Это была очень трудная, очень беспокойная, нервная зима, и в этом, к великому моему сожалению, виновата была я — не сумела учесть его нервного состояния, понять его «психоневрозов»... (С. 193).

Приехала я в Ленинград, как обычно, в начале ноября. И мне сразу же по приезде пришлось хлопотать о ремонте — в кухне у нас была «протечка» — из ванной верхнего этажа, потолок грозил обвалом, и я обратилась в ЖАКТ с требованием произвести срочный ремонт, который вскоре и был начат.

Конечно, вся эта суматоха, шум, волнения, связанные с ремонтом, очень беспокоили Михаила. Он связал это с моим приездом, сказал: «Вот ты приехала, стало так беспокойно, у меня рухнула вся работа».

Конечно, эти слова очень неприятно подействовали на меня. И я подумала: «Если с моим приездом рухнула его работа, что же мне делать тогда? Куда деваться? Значит, я ему не нужна? Значит, все мои мечты и надежды на хорошую, мирную, светлую жизнь с ним вдвоем несбыточны?»

А потом был «разговор» с дворничихой Ниной, которая мыла полы после уборки. И ее слова о том, что все в доме знают об отношениях Михаила с Маришкой и смеются над ним: «Вас-то все жалеют и удивляются, как это он Вас на нее променял — “золото на серебро”, — а над ним и над ней смеются».

Это, конечно, было мне неприятно и неприятно, главным образом за него, и тогда я сказала ему: «Как неприятно, что ты не можешь прекратить обеды у Маришки (я тогда думала, что причина его хождений, действительно, только “психоневроз с едой”), ведь эти твои ежедневные хождения так роняют тебя в глазах всего дома, мне даже приходится разубеждать людей в том, что между вами существуют какие-то отношения».

Конечно, я не должна была этого говорить — в ответ опять начались крики: «Ты опять меня начинаешь мотать, опять принимаешься за старое, опять хочешь меня нервировать и срывать с работы, ты и так создала мне тяжелый психоневроз с едой, хочешь, чтоб я совсем есть перестал»....

Потом все несколько сгладилось. С четвертого декабря я засела за работу — надо было срочно перепечатать ему перевод, со сдачей которого он опаздывал. (Перевод с украинского повести Полторацкого «Детство Гоголя».)

Когда я только начала печатать перевод, я следила по часам за временем, чтобы узнать, в какое время я смогу уложиться с работой, и обратила внимание на то, что он слишком долго, часа полтора, пробыл у Марины.

И когда он вернулся, я спросила его: «Неужели ему так интересно часами сидеть у нее, я просила объяснить, чем все-таки она так привлекала его к себе?» (С. 194).

На это он ответил мне как-то очень грубо и резко, что-то вроде того, что не мое дело вмешиваться в его жизнь, что я не имею права распорядиться его знакомыми и его контролировать. А тогда я, с болью, с настоящей душевной болью, сказала: «Ну, зачем ты так говоришь?

Зачем ты рушишь все хорошее, что у меня есть к тебе? Зачем ты убиваешь мое чувство?» Он с презрением и издевкой бросил: «Чувство! Старая женщина, а говоришь о чувстве. Какое там чувство!»

На это я ответила, что я не говорю об «африканских страстях», я говорю о чувстве, о человеческом чувстве, о любви, которую человек может и должен сохранять в душе до последних своих дней, о чувстве, которое может быть и должно быть к детям, к матери, к родным. Почему же стыдно иметь его к мужу?

И если когда-нибудь у меня в душе погаснет способность к чувству, это будет значить, что пора мне умирать.

Эта фраза его больно ранила душу... Правда, после нее было примирение, была даже близость, снова он сам потянулся к ней! А когда я начала противиться, сказал, что не хочу близости после тех его слов, он все-таки заставил меня подчиниться своему желанию, как было всегда, все наши 38 лет...

Вскоре мне пришлось забежать к Нине Николаевне (Сорокиной — соседке), надо было передать ей поручение от ее знакомой. И вот Н. Н. на мой вопрос о том, что же все-таки болтает Маришка, сказала: «Ну, говорит, что он ее одну любит, что он в этом году редко ездил в Сестрорецк, чему она была очень рада, ну, глупости говорит, все считают, что Маришка — круглая дура, и ничего больше.

И мне подумалось: значит, я была права в своих предположениях, значит, действительно он не хотел жить в Сестрорецке больше 3-х дней, потому что скучал по ней, не хотел ее огорчать, делать ей неприятное.

И эта мысль была непереносимо тяжела мне...

К тому же у меня родилось еще одно подозрение — он не хотел давать мне подстрочник перевода (перевод делался с украинского), а на вопрос: «Кто ему делал перевод?», отвечал уклончиво: «Одна женщина, знающая язык».

Не давал он мне подстрочник перевода, очевидно, потому, что знал, что в мои руки попало письмо Марины в Сочи, и я могу узнать ее почерк, так что, скорее всего, он действительно умышленно дал мне возможность (С. 195) прочесть это письмо и письмо З., чтобы разубедить меня в моих подозрениях о его «любви» к Марине. И вот у меня родилось подозрение — не Маришка ли автор подстрочника?

Наконец мне в руки попала рукопись подстрочника, и я убедилась — это она! И тут мне показалось, что все рухнуло окончательно, если она и в литературных делах сумела ему заменить меня, значит, она для него не только «кухарка», нечего и надеяться, что когда-нибудь он оставит ее. Но я смолчала, что мне известен «автор» подстрочника, но я не смогла смолчать о том, что услышала от Н. Н.

И тут, конечно, опять разыгралась буря, и крики, и уверения, что он не любит эту женщину, что он уже давал и дает еще раз честное слово в этом.

Но когда я уже готова была поверить в это, поверить, что «Маришка» просто хвастает либо из самолюбия, либо для того, чтобы ее слова дошли до меня, заставили бы, может быть, пойти на решительный «разрыв» с Михаилом, когда, я, почти поверив в это, сказала ему: «Ну, хорошо, если ты даешь честное слово, что она тебе безразлична, что ты ходишь к ней только обедать, потому что у тебя «психоневроз с едой». Он, видимо, испугался и стал говорить, что, «конечно, хорошие, дружеские отношения есть», — и этим снова разрушил все.

А вечером, когда я закончила печатание перевода, он зашел ко мне в комнату, отношения у нас тогда были спокойные, и я помогала ему в работе, и я случайно упомянула о том, что в трудные годы я не продала ни одной вещи его и Вали, а своего всего лишилась, даже кровати, и теперь приходится мне спать на маленьком диванчике, подставляя к нему на ночь пуфики.

На это он неожиданно заметил, что я продавала вещи, потому что не хотела работать. И эта фраза меня страшно задела, так как это была неправда.

И я напомнила ему, что всю зиму 1946—<19>47 гг. я тщетно искала работы, что Маруся Кауфман²⁵ (гимназическая подруга) сказала, что ее бывший муж — «Володька» Якубенко²⁶ сказал, что «Орбели пере- страховщик и нет смысла просить его дать Вере работу в Эрмитаже», что Беккер сказала, что ей ответили: «Пусть она (т. е. — я) переменит фамилию, если хочет получить работу», что ни Саянов,²⁷ ни Прокофьев,²⁸ ни Форш,²⁹ ни Кетлинская не пожелали дать мне переписку на машинке, сказав, что не могут отказать своим машинисткам, что объявления об уроках и занятиях с детьми я вывешивала, но на них никто не откликнулся, что, наконец, когда мне давали работу, я не отказывалась — и стельки делала (С. 196), и урок давала, и на машинке перепечатывала для Смолича.

Зачем быть несправедливым и попрекать меня тем, в чем я не виновата, тем более что мне и самой больно и грустно от сознания, что я ничем, кроме продажи своих вещей, не смогла помочь семье в тяжелые минуты.

И прекрасно он знает, как мне больно, что не удалось кончить университет, и не моя в том вина, что не удалось, и должен понимать, что без диплома, за 300 рублей и вообще не было смысла работать (300 р. = 30 р. по масштабу сегодняшних цен).

На это он стал попрекать, что я не работала и раньше, до войны. И это тоже была неправда. В юные годы, еще в бытность в гимназии, я работала — давала уроки, потом — до 1923 года работала учительницей и воспитательницей, а потом я училась в университете и тоже давала уроки и лишь с 1926 г., когда его материальное положение улучшилось, я, действительно, перестала работать.

Но с 1930 г. по 1937 г. вела большую общественную работу по Ликбезу, за что имела неоднократную благодарность.

Кроме того, все это время помогала ему самому в его работе, была его «секретарем-машинисткой», печатала на машинке, корректировала, рецензировала и, наконец, много времени отдавала занятиям с сыном.

И тут я, совсем ненужно, добавила, наконец: зачем он попрекает меня тем, что я не работаю, а не требует этого от своей Маришки, которая и моложе меня, а живет и жила на алименты, однако это не мешает ему ее уважать! (Упомянуть о «Маришке», конечно, было лишнее.)

На это Михаил стал, как всегда, кричать, что я нарочно нерввирую его, волную, что он только что кончил тяжелую работу и нуждается в полном покое, а я нарочно травлю его, дразню, оскорбляю...

Когда же я (конечно, совершенно напрасно, необдуманно) сказала, что я не знала, что одно упоминание о его «возлюбленной» Маришке будет так волновать его, он бросил мне в ответ неожиданно грубое бранное слово, которое, мне показалось, я ему простить не смогу!

(Все это говорит за то, что в его психике, действительно, произошли какие-то болезненные изменения. Так непохоже было все его поведение на его все-таки обычно сдержанный и деликатный характер.)

Но тут начались у него неприятности в связи с приездом в Ленинград Мироновой и Менакера, которым опять запретили в Ленинграде показывать его пьеску, идущую весь год с большим успехом в Москве. (Пьеска — «Фальшивый жених», написанная им в 1955 году.) (С. 197).

Он начал сильно волноваться, пришлось его успокаивать, вести кое-какие переговоры с начальством — Прокофьевым, написала было письмо Кавериной, но потом решила письмо не посылать, эти внешние неприятности несколько отодвинули на задний план личные.

А потом как-то утром он стал говорить, что вот он себя так плохо чувствует, потому что сразу скопилось все, он только что кончил тяжелую работу, тут эти неприятности с эстрадой (Миронова и Менакер), да, вдобавок ко всему, и личные неприятности.

На это я сказала, что на общественные неприятности не нужно обращать внимания, что все это утрясется.

А позднее, уже вечером, зачем-то опять заметила, что в отношении «личных дел» — мое глубокое убеждение, что всему виной «Маришка», что если бы ее не было, если бы он перестал ходить к ней, тогда и только тогда в доме наступил бы мир, и тишина, и покой, о котором мы оба мечтаем.

Конечно, на это опять последовал взрыв, крики: «Она еще смеет контролировать моих знакомых!» И, в конце концов, в первый раз в жизни — уже «нецензурная брань» по моему адресу.

А потом он стал жаловаться на болезнь, на сердце, начали опухать ноги, и он стал думать, будто бы я нарочно волновала его, устраивала неприятности, «создала психоневроз с едой» и теперь хочу его «уморить»...

Когда же я пыталась оправдаться, доказать, что это совсем не так, что таких мыслей нет и никогда не было в моей душе, что я просто не могу примириться с существованием в его жизни в продолжение <нрзб.> лет другой женщины, полагаю, что он серьезно привязался к ней — получилось еще хуже.

Так прошло время до нового, 1956 года.

Новый Год он все-таки встретил со мной и лишь после встречи пошел к Марине.

Потом опять и опять были у нас «крупные неприятные разговоры», и мне стало казаться, что я совсем не нужна ему, и я только не могла понять, почему он не хочет прямо и открыто сознаться в том, что он любит или просто крепко привязан к другой женщине, что она ему стала необходимой, нужной?

Но почему же он до сих пор все же стремился к миру со мной? И ведь все неприятности у нас бывают в ответ на мои слова о «Маришке», когда я прошу, чтобы он перестал так часто бывать у нее (С. 198).

А потом снова я думала, что он любит Марину, а меня считает причиной своей болезни, своего психоневроза, и тогда мне казалось, что мне лучше «уйти», разойтись с ним, разъехаться, переехать к Тамаре, гимназической моей подруге, которая любила меня...

Но в глубине души оставалось сомнение — а вдруг это все-таки — «психоневроз», вдруг он — просто нервно-больной человек, и тогда я действительно виновата в том, что не могу этого понять, что волную, нервную, будоражу больного человека? Ведь, если я молчу, все у нас идет гладко.

Наконец, я поняла, что изменить ничего я не в силах... Я прекратила всякие «неприятные разговоры». Но он продолжал жаловаться на здоровье — на сердце, нервы, «спазмы», тошноту, отвращение к еде... И не хотел послушаться ни одного моего совета. И потому я ничем не могла помочь ему.

Так прошла зима.

К весне в его судьбе неожиданно наметилась перемена: было решено собрать однотомник его старых рассказов, в театре собирались возобновить «Парусиновый портфель», его стали приглашать во все журналы, и тещы устраивали вечера его старых рассказов.

И я стала думать: очевидно, он все же нервнобольной человек, и все его странное отношение ко мне — следствие его болезни, его «мании насилия».

В начале мая я, как обычно, уехала в Сестрорецк. И лето было, как обычно, «хорошее» — ссор с Михаилом не было. Впрочем, летом мы вообще не ссорились. Я поила его молоком, жарила его любимых «окуньков», варила ему черносмородиновое варенье. И, по его желанию, всегда провожала его на вокзал, когда он уезжал в город. И он заботился обо мне. За лето прислал 3 денежных перевода — это когда он не приезжал в Сестрорецк.

После моих именин — 3-го сентября — Михаил больше не приезжал на дачу, возможно, боялся холода, боялся простудиться. А, может быть, был очень занят: его снова начали печатать.

Всю весну и лето Михаил работал над однотомником,³⁰ который должен был, наконец, выйти в «Советском писателе». Отбирал для него свои лучшие работы 1923—1956 гг. Считал, что книга получилась удачная, и это очень радовало его, и даже нервы его, его «психика» начала приходить в равновесие.

1956—1957 г.

Эта зима оказалась спокойнее, чем предыдущая, ссор с Михаилом почти не было. И она была бы совсем спокойной, если бы не неожиданная (С. 199) реальная болезнь Михаила.

Книга его (однотомник) вышла примерно к ноябрьским праздникам. Михаил был очень доволен этим. Сразу же дал мне много денег, и я занялась покупками: надо было купить носильные вещи, ведь все у меня так износилось, оборвалось, а, главное, надо было привести в порядок мебель, которая тоже была в ужасном состоянии.

Подошел Новый Год. Михаил встречал его с нами, но встреча вышла такая неудачная, нервная, непонятная. Валина жена, Антонина,³¹ с которой он прошлой зимой снова сошелся, к великому неудовольствию Михаила и моему, на встречу не явилась; Валерий нервничал и сидел мрачный, дети — внук Миша и племянница Лера — шалили и нервировали.

Михаил вообще очень отрицательно относился к Антонине, он говорил про нее, что «она — корыстная дрянь» и у нее «мозги набекрень».

Валю она никогда не любила, была «дура», вульгарная и воображающая о себе невесть что, она буквально отравляла нам всем жизнь.

Конечно, встреча Нового Года была скомкана, испорчена, и не удивительно, что в час Михаил все же ушел к Маришке, сказав, что идет в Дом актера, где ему, якобы, оставлен столик — «извиниться, что не может прийти».

А через час, когда я устраивала на ночлег детей в комнату Валерия, я увидела его, спускающегося сверху.

Я только сказала: «Я так и знала!» И снова получился скандал, с руганью, истериками, так что мне же пришлось его успокаивать, поить валерианкой, уговаривать....

«Старый Новый Год», правда, мы встречали спокойно — с нашим «воспитанником» Вовой, которого мы, после ареста его родителей в 1937 г. по предложению Михаила, «взяли к себе», и Галей, его женой, и Михаил посидел с нами спокойно часа два.³²

Но вскоре после Нового Года неожиданно заболел Михаил. Впрочем, не неожиданно, потому что о своей болезни он твердил уже давно — мне плохо, я болен — это он повторял уже с самой осени.

А 1 марта он даже сам сказал: «Как началось с Нового Года, так все и пошло». И вот как-то раз он уходил, как всегда, обедать. Я была в это время на кухне, что-то готовила. ...И не успела я уйти из кухни, как вдруг слышу — открывается дверь... Это был он, бледный, дрожащий, очень испуганный... Говорит: «Знаешь, у меня, кажется, паралич, нога отнимается, не могу ходить.... Вышел на бульвар, вдруг как мурашки по ноге, и нога стала чужая, тяжелая, холодная... (С. 200). Все же я поднялся наверх, но там стало еще хуже».

В первую минуту я испугалась и растерялась даже немного. Потом поняла — это нервное, и надо его успокоить. Он был очень испуган.

И я заговорила совсем спокойно — ничего страшного нет, никакого паралича быть не может — какой же паралич, если он ходит? Уложила его в постель, дала грелку, сделала ножную ванну, напоила горячим и долго сидела около него — успокаивала....

«Ты просто очень испугался, у тебя все симптомы страха — дрожь, холодный пот, успокойся, все пройдет», — говорила я. — «Да, я испугался, ах, как я испугался», — повторял он.

Часа через два он успокоился, но ночью опять заболела нога, я услышала, что он ходит, встала, снова делала ему ванну, давала грелку, успокаивала.

На другой день началось резкое отвращение к еде. На следующий, кажется, он сам попросил позвать невропатолога. Но все-таки, несмотря на то, что чувствовал он себя ужасно, и врач мог придти без него, он решил подняться наверх, мотивируя тем, что, может быть, он там поест хоть немного.

Вечером пришел врач (доцент Пригонников из Литфонда). Сказал — в основном — нервное, но нога — все же — «спазм сосудов», пульс не прощупывается (это он сказал мне, Михаилу же, что пульс есть, но слабый) и что прежде всего надо бросить курить. Прописал ряд лекарств. Лекарствами и врачом Михаил остался доволен, во врача поверил и лекарства стал принимать. Но курить, конечно, не бросил.

Седой стало немного лучше. Отвращение и позывы на рвоту и даже рвота при одном упоминании об еде как будто исчезли.

С ногой было еще раз или два ухудшение — почти те же явления, потом некоторое время одна нога оставалась холоднее другой, затем, как будто, стало лучше.

Но появились какие-то «блуждающие» боли — то в боку, то в пояснице, то под ребрами.... Боли очень резкие, очень его беспокоили и мучили...

Большую часть времени он проводил в постели, лежал, даже еду по утрам я подавала ему в постель. Я искренно была огорчена и взволнована его болезнью, искренно хотела ему помочь и даже была какая-то радость в том, что я могу что-то сделать для него, быть ему полезной, я чувствовала себя нужной и даже близкой ему.

И был у него даже минутный порыв какой-то — не то нежности (С. 201), не то благодарности — это в первый момент его болезни, он даже потянулся ко мне, я не поняла его движения.

— «Что ты?» — спросила с недоумением.

Ответил немножко с досадой на мою непонятливость:

— «Я хочу тебя поцеловать»...

Это было как-то неожиданно.

Очевидно, в этот миг он, наконец, почувствовал во мне друга.

В это время ему часто звонила по телефону Зенькович, справлялась о здоровье, и я сама предложила Михаилу попросить навестить его, чем она, конечно, не преминула воспользоваться, и стала часто его навещать, против чего я абсолютно ничего не имела и всегда встречала ее предельно вежливо и любезно. А потом опять начались «неприятности».

Как-то он сам завел разговор о Марине, стал меня уверять, что у него нет и никогда не было к ней любви, но что ему нужна была ее помощь, хотя бы фиктивная. Но потом он, на мои слова — какой интерес общаться с ней, ведь она просто глупая женщина, заметил: «Нет, она умная, очень умная».

И от этих слов в душе родилось опять недоверие и отчужденность. А тут вскоре его бестактные замечания и придирки ко мне во время визита к нему Зенькович,³³ потом при Ольге Малоземовой,³⁴ которая даже сама ему заметила: «Что ты к ней придираешься?», и, наконец, по поводу моего разговора с Татьяной Груздевой в день ее именин — 25 января. Ему этот разговор показался глупым и бестактным, а я знала, что делала, и на то у меня были свои причины.

Но в раздражении на него за его придирки и помня его фразу, что Марина — «очень умная», я бросила: «Ну, конечно, я глупа, ведь только твоя Маришка умница!»

Конечно, сразу последовал «взрыв», брань, упреки, обвинения — я его нарочно нервную, не щаю, раздражаю, убиваю....

Это меня страшно обидело, и тут я допустила грубую ошибку, действительно, «бестактность» — сказала, что мне очень обидно такое отношение в ответ на мои заботы о нем, за то, что я так «нянчилась» с ним во время его болезни.

И это необдуманное словечко «нянчилась» ужасно обидело и оскорбило его, и он всю зиму не мог мне его простить и забыть.

В общем — была опять грубая и обидная ссора, и в ответ на его грубые слова я говорила, что, если он не любит меня и я не нужна ему, я могу уйти, уехать, хоть сейчас, сию минуту, что я могу вообще ничего не делать для него, даже не входить в его комнату (С. 202).

На это он кричал, что «заставит меня заботиться о себе». А я же хотела «уйти» лишь в том случае, если я не нужна ему. Все это был такой бред, нелепый, тяжелый и ненужный.

Опять создались напряженно-тревожные отношения, и это, как он уверял, ухудшило его состояние.

Он опять стал жаловаться на боли, на ногу, опять перестал есть сколько-нибудь нормально. И я пожалела его и сказала, что не сержусь, а до того почти не говорила с ним, боясь раздражать его, только подавала еду. Он просил дать ему полный покой до прихода доктора, и я это сделала. Доктор нашел у него заметное улучшение, но через день-два после его визита Михаил опять стал плохо есть, а потом опять появились боли.

Какое-то время все у нас было спокойно, но потом опять была ненужная, неожиданная ссора.

«Это было 19 февраля. У нас погас свет, а Михаил в это время уходил обедать, и я сказала — “Если у Маришки свет тоже не горит, я позвоню в домоуправление, значит, это общее явление”. (Нервы у меня почему-то были в то день как-то особенно натянуты.) Михаил вернулся и объявил, у Маришки свет горит, и у Томашевских,³⁵ и Браун³⁶ тоже. И так мне стало опять неприятно и противно, что Браун и Томашевские опять видели, что он продолжает ходить к Маришке, и опять у них будут те же мысли и предположения на этот счет, такие обидные и оскорбительные для меня, — ведь мне столько раз передавали, что некоторые писатели считают Марину его «второй женой»!

И я не сдержалась и спросила: «А откуда ты знаешь, что у них горит свет?» Ответил: «Я их встретил на лестнице, а что, в чем дело?» И что-то добавил еще, на что я — опять совсем ненужно заметила: «Да, мне неприятно, противно, что ты не можешь прекратить туда ходить, потому что это дает пищу неприятным для меня разговорам».

И опять разыгрался скандал, который кончился его истерикой, обвинениями меня в том, что я его «убиваю», что я насилую и насильовала всю его волю, а я возражала, что это неправда и что теперь я готова уйти от него, куда угодно, лишь бы не видеть этой вражды, этой несправедливости, не слышать этих оскорблений.

В общем, я ушла из комнаты, несколько дней опять почти не говорила с ним. Потом как-то немного улеглось, но через 3 дня опять позвонили — я просила его дать денег на покупку для него очень удобного (С. 203) столика, который присмотрела для него в комиссионке, но он отказал категорически. И опять начал нервничать и говорить мне свои обидные, несправедливые обвинения. Я не стала слушать, ушла из комнаты и больше не заходила к нему за весь вечер — даже прощаться не зашла.

А на другой день он стал жаловаться на боли и на ногу, и я опять оказалась виноватой...

Был еще — 24 февраля — неприятный разговор из-за Веры (сестры), но я снова ушла из комнаты, и «ссора не состоялась»...

Но больше я не поднимала никаких «неприятных», волнующих его разговоров...

Так вот и затихло все...

Эти дни он жаловался на боли, опять очень плохо с едой...

Была у него Зенькович и даже принесла ему рисовой каши, но он и ее не ел...

Но у нас сейчас наступило «затишье»...

А 3 марта я писала: «Второй день лежу, воспользовавшись легким нездоровьем, лежу и перечитываю свои старые дневники...

Читаю записки 1917-го года:

«Сейчас уже ясно понятно одно — я любила, очень любила Михаила... И он когда-то, очень короткий миг, правда, любил меня... И в память этой любви я должна сейчас сделать все возможное, чтобы спасти его от смерти, от гибели... Это моя единственная цель и задача сейчас.

И я должна это сделать не для того, чтобы завоевать его любовь, не для своего личного счастья! Нет, только лишь в память былой любви нашей юности, в память тех ярких, сверкающих мгновений, которые он дарил мне когда-то»... Я должна помочь ему стать здоровым!

Тем более, что он считает, что я создала его болезнь! Это неправда, я не виновата в этом, по крайней мере — сознательно не виновата, но я должна во что бы то ни стало спасти его!

...Я поняла, поняла так отчетливо и ясно — такой страсти, как Михаил, не дал мне никто в жизни!

...И за то, что он дал мне такое большое, яркое счастье, я должна была простить ему все — даже измены и равнодушие... А я не прощала!

Но с этой минуты будет у меня к нему лишь жалость, и нежность, и благодарность за прошлое...

Как мне жаль его! Старенький, слабый, больной... Такой одинокий и несчастный со своими болезнями, «страхами», неврозами!

Я ничего не хочу от него, ничего! Я не требую больше ни любви (С. 204), ни нежности, ни заботы, ни ласки...

Я только хочу помочь ему... Помочь стать здоровым, избавиться от тех навязчивых идей, что так отравляют его душу, такой мучительной делают его жизнь!

В это время в душе моей, как будто, произошел какой-то перелом... Я, действительно, начисто прекратила всякие «неприятные разговоры», не касалась того, что могло бы как-то взволновать Михаила.

И еще я решила — я должна перечитать все мои тетради и записать жизнь Михаила... Может быть — в этом — цель и смысл моей жизни с ним?

Да, Это должно стать моим «делом жизни»...

И мне опять стало мучительно жаль Михаила, надо быть с ним кроткой и ласковой, надо его жалеть. Но ничего не ждать от него, ни на что не надеяться. Ему надо все простить и прощать вперед.

Надо попытаться дать ему хотя бы покой, если уж не могу дать ему счастья!

В благодарность за наше с ним счастье — наше юное счастье!

Оно было сияющим и ярким, это был «взлет» и безумие. И за это надо быть благодарной ему и судьбе...

И сейчас — жалеть его и заботиться о нем — несмотря ни на что... Ни на его злобу порой, несправедливость, холодность, непонимание. И ради этого надо жить.

А потом показалось — «кажется, он до сих пор “боится” меня... Какой это нелепый бред! Да, он не вполне нормальный человек... И объяснить ему ничего нельзя...»

Вечером (в «пасхальную ночь») Михаил ушел на рождение к Акимову. А днем опять чуть не поссорились с ним — прочла в газете о враче — психиатре Варшавском, который лечит психоневрозы гипнозом, в душе загорелась надежда — даже уверенность, что этот врач сможет вылечить Михаила...

Но на мое предложение он ответил категорическим отказом, а когда я стала спрашивать, почему же он отказывается от единственной возможности стать, наконец, здоровым, стал кричать, что я «давлю» на него, «обрабатываю», «насилую его волю»...

И, в конце концов, опять упомянул о том, что я — причина его болезни, что я не даю ему покоя и мешаю работать...

Тогда я сказала, если я ему ничем помочь не могу, если я раздражаю, нервирую и «вгоняю его в болезнь», мы можем разъехаться, мне не нужна жизнь с ним «насильно». На это он сказал, что не хочет никаких перемен, что у него еще не прошли «спазмы» на меня и что я «из пальца высасываю неприятности» (С. 205)...

Потом он стал просить прекратить разговоры, и я ушла.

Он стал считать, что болезни его оказались «мифом», «психоневрозом», но я боялась, не ошибается ли он, может быть «спазм сосудов» на ногу — реальность?

Он не хочет больше лечиться, не хочет показываться врачу и принимать витален, который я с таким трудом для него достала... Не хочет принимать и капли для аппетита, которые сам же просил достать.

Он не хочет слушать моих советов, все мои слова считает «обработкой», «вправлением мозгов», «насилием»...

Все это очень похоже на бред, но я ничего не могу с ним поделать.... Я очень искренне хочу, чтобы он стал здоровым, но ведь не в моей это власти...

Все это, к сожалению, очень похоже на упрямство маньяка....

Вскоре опять была нелепая, ненужная «ссора» — совсем неожиданная и непонятная... Это действительно психоз... Но я просто не знаю, как разговаривать с ним. Он все превращает в неприятности, начинает нападать на меня, в чем-то обвинять, говорить обидные, несправедливые вещи — оскорблять, превращать все в ссору, в «скандал»....

Кажется, я просто не должна ему ничего говорить...

Самая пустая фраза, замечание, совет — оборачивается против меня. Сегодня я оказалась «гувернанткой», делающей ему «выговоры»!

В общем, в ту зиму «ссор» почти не было, очень беспокоили меня болезни Михаила, очень хотелось помочь ему вылечиться.

Как только ему стало лучше, он снова «набросился на работу»...

А отдыхом для него стали (уже в течение многих последних лет) — еженедельные «преферансы» у Груздевых.... Возвращаясь оттуда уже поздно вечером, когда я уже лежала в постели, он неизменно заглядывал в мою комнату, бросал несколько дружеских слов и уходил к себе, ложился спать...

Лето 1957 года

В начале лета было очень неприятно и тревожно, что денежные дела опять были неважны, перспектив — никаких, а денег надо было много, в связи с ремонтом на даче.

Но с Михаилом, как обычно летом, никаких ссор не было.... И даже показалось, что Михаил становится, наконец, ближе, что исчезает «стена», что стояла между нами долгие, долгие годы, что мы, наконец, договоримся и поймем друг друга...

Отношения с Михаилом все лето были хорошие, близкие... И мы отмечали день его рождения и нашу «40-ую годовщину» — 10 августа — «28 июля по старому стилю». Михаил очень хотел мне подарить к этому дню золотые часики, но я решительно отказалась — во-первых, они были мне теперь не нужны, во-вторых, жалко было денег — еще так много «дыр» у нас оставалось! И тогда Михаил привез мне хорошие часики-будильник, которые до сих пор напоминают мне об этом дне...

В общем, летом с ним все было хорошо...

В сентябре Михаил приезжал в Сестрорецк раза два, в октябре не приезжал, «общались» с ним по телефону...

Мне очень жаль Михаила — эти заботы о деньгах, эта вечная, без отдыха, непроизводительная, к тому же, работа, конечно, очень тягостна для него.... И за это, может быть, многое нужно прощать.

Но помочь ему я ничем не могу... Я бессильна сделать что-нибудь реальное, и это, пожалуй, самое ужасное. Если б я могла заработать хоть немного денег! Но как? Уроки? Откуда я могу их получить, кто даст их мне?

В этот день, поздно вечером, звонила Михаилу — и опять неприятности — ни одна вещь Михаила не пошла — ни в «Крокодиле», ни в «Международном» журнале, несмотря на то, что обе были вначале одобрены и приняты без поправок....

Что это значит — непонятно...

И как жить — тоже непонятно...

1 ноября, к вечеру, я приехала в Ленинград.

¹ Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888—1982) и Зощенко Михаил Михайлович (1894—1958) познакомились в начале 1920-х годов. В это время их знакомство

имело отблески романтических отношений, впоследствии они стали преданными и добрыми друзьями. Все годы их сопровождала переписка, которая содержала многие философские вопросы, которых, как представляется, не хватало писателю в общении с дамским полом. Шагинян помогала Зощенко и в решении творческих проблем, и пыталась как-то сориентировать его сложную личность в эмоциональном и социальном плане. В трудные, безденежные времена она помогала семье Зощенко материально и всегда откликалась даже на большие просьбы. Она — единственная после Постановления 1946 года ходила в высокие инстанции, добиваясь снисхождения к личности любимого писателя.

² *Блейман Марина* — гражданская жена сотрудника сценарного отдела студии «Мосфильм» М. Ю. Блеймана, познакомилась с М. М. Зощенко в гостях у В. Стенича. Во время войны, вместе с мужем, была в эвакуации в Алма-Ате, а после возвращения в Ленинград жила в Писательском доме на канале Грибоедова на пятом этаже, где жил Зощенко. Марина Диадоровна (называвшая себя княжной Багратион-Мухранской), по мнению Веры Владимировны Зощенко, не являлась законной женой М. Блеймана, она воспитывала сына сценариста, получая довольно значительные алименты. Знакомство Михаила Зощенко с этой дамой, определенные дружеские отношения с ее сыном, тихие застолья, вкусная еда — вызывали у писателя спокойствие и умиротворение. Жена Зощенко была уверена, что увлечение «Маришей» быстро бы прошло, если бы не спазмы за обеденным столом. Сама «Мариша» вспоминала о встречах с Зощенко: «Время от времени он приходил в очень плохом состоянии. Что-то опять в очередной раз случилось — какие-то новые неприятности. Если заговорит, то я, конечно, разговор поддерживаю — постараюсь успокоить, развеять страхи и опасения, отвлечь от тяжелых дум. Но, бывало, придет и молчит, весь вечер промолчать может. Я копошусь на кухне, вяжу или очень устаю за день, прилягу и засну, а он все сидит и думает о своем. Потом встанет и так же молча уйдет» (*Мухранская М.* Без литературы // Воспоминания о Михаиле Зощенко. СПб., 1995. С. 554.)

³ *Секундов* — по-видимому, сотрудник журнала «Огонек».

⁴ По-видимому, имеется в виду написанная в соавторстве с В. И. Мусатовым и Б. Б. Гинзбургом для Ленинградского театра музыкальной комедии комедия «Шутки в сторуно». Постановка не состоялась.

⁵ *Лассила Майю* — один из женских псевдонимов известного финского писателя. Обучался в семинарии (1900—1904), жил в Петербурге. Юмористическую повесть «За спичками» (1910) впервые перевел на русский язык Зощенко. Опубликована в журнале «На рубеже» (1948. № 8-10) В начале 1920-х годов Лассила сблизился с представителями русского освободительного движения, наивно верил в победу социализма. Был расстрелян финскими белогвардейцами. Зощенко перевел еще один роман Лассила — «Воскресший из мертвых». Он был опубликован в 1950 г. в журнале «На рубеже» (№ 11, 12).

⁶ *Гаврилюк Альбина Михайловна* — украинская писательница. Самое известное ее произведение — «Простодушный Папуа», который и перевел М. Зощенко.

⁷ *Панч Петр* (Панченко Петр Иосифович) (1891—1978). Основными темами автора были — историко-революционные, военные, и главная тема — тема социального строительства.

⁸ *Рыбак Натан Самойлович* (1912/1913—1978) — украинский советский писатель, лауреат Сталинской премии второй степени (1950).

⁹ М. Зощенко помогал В. Лифшицу писать пьесу «Простой рабочий», поскольку Лифшиц со своей семьей собирался переезжать в Москву. (Но публикация и постановка не были осуществлены.)

¹⁰ *Тимонен Антти Николаевич* (1915–1990) — карельский писатель, оставил наследие на русском и финском языках. Книга А. Тимонена «От Карелии до Карпат» была опубликована в 1950 г., поэтому Вера Владимировна имела право говорить об оплате труда своего мужа.

¹¹ *Сорокина Нина Николаевна* — соседка семьи М. Зощенко.

¹² *Груздев Илья Александрович* (1892–1960) в юности учился в Петровском коммерческом училище, которое закончил в 1911 году. Затем поступил на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, который окончить не удалось, началась Первая мировая война. После ее окончания Груздев закончил университет, стал заниматься литературной и театральной критикой. В 1919 г. познакомился с будущими «серапионами», а 1 февраля 1921 г. вступил в литературное общество «Серапионовы братья». Илья Александрович и его супруга Татьяна Кирилловна очень дружили с М. Зощенко и поддерживали его в тяжелые времена. М. Зощенко помогал Груздеву заниматься горьковедением.

¹³ «Повесть о колхозном плотнике Саго» М. Цагараева — новая повесть для перевода М. Зощенко с осетинского. Она была опубликована: М.: Советский писатель, 1950. Тираж 15000 экз.

¹⁴ В 1952 г. М. Зощенко работает над первой в своей творческой жизни публицистической книгой «Что меня больше всего поразило». Видимо, писатель хотел осмыслить и философски обобщить все, что с ним произошло в 1946 г. Он передал текст для ознакомления писателю Антонову. *Антонов Сергей Петрович* (1915–1995) — прозаик, критик, сценарист. Творчество Антонова отличалось интересом к нравственной и социальной проблематике, поэтому Зощенко выбрал его в качестве рецензента. Но Антонову текст не понравился, и он просил эту книгу не печатать, чтобы не вызвать критических замечаний. Разумеется, Зощенко очень расстроился.

¹⁵ *Каверин (Зильбер) Вениамин Александрович* (1902–1989) — прозаик, мемуарист, историк литературы. Был знаком с Зощенко со времен «Серапионовых братьев». Помогал ему в литературной работе и в сложные времена материально. Первым сообщил М. М. Зощенко, что он принят в СП в 1953 г. (не восстановлен, а заново принят).

¹⁶ *Сурков Алексей Александрович* (1899–1983) — поэт, общественный деятель, ред. ж. «Огонек» до 1954 г.

¹⁷ *Пономаренко Пантелеймон Кондратьевич* (1902–1984) — в 1953–1954 годах министр культуры СССР.

¹⁸ *Миронова Мария Владимировна* (1911–1997) и *Менакер Александр Семенович* (1913–1988) — советские актеры. В 1939 г. поженились, и в этом же году впервые прозвучали юморески, исполненные дуэтом Миронова — Менакер. Им удалось создать нетипичный театр — Театр двух актеров, где играли только они. Оба актера работали в Московском театре эстрады до 1954 года.

¹⁹ *Каминка* — актер Московского театра эстрады, в его программе было очень много ранних рассказов М. М. Зощенко. В связи со сложностями в судьбе писателя эти рассказы то разрешали читать публике, то запрещали. Однако постоянные зрители требовали актера прочитать знакомые и любимые рассказы раннего Зощенко.

²⁰ 5 мая 1954 года М. Зощенко вместе с А. Ахматовой пригласили на встречу с английскими студентами в Дом писателей. Зощенко заявил о несогласии с обвинениями в свой адрес в докладе Жданова. Студенты встретили его заявление бурными аплодисментами. Ахматова же спокойно согласилась.

²¹ *Катерли Нина Семеновна* (1934) — прозаик, публицист, занимала многие должности в Союзе писателей.

²² *Ермилов Владимир Владимирович* (1904–1965) — советский литературовед, критик, член ВКП(б) с 1927 г. В «Правде» опубликовал критическую статью о М. Зощенко после встречи его и Ахматовой с английскими студентами. После этого критик и писатель обменялись резкими письмами. Письмо В. Ермилова от 4 августа 1954 г. опубликовано в книге Ю. В. Томашевского «Лицо и маска Михаила Зощенко» (М., 1994. С. 210–213).

²³ *Друзин Валерий Павлович* (1903–1980) — критик. Выступал против М. Зощенко на обсуждении встречи с английскими студентами.

²⁴ *Гамеева Зинаида Степановна* — врач-терапевт, которая следила в Сочи, в санатории им. С. Орджоникидзе, за здоровьем М. Зощенко. Она даже составила план мероприятий для писателя в Ленинграде. Но он, к сожалению, его не мог, да и не хотел выполнять.

²⁵ *Кауфман Маруся* — гимназическая подруга Веры Владимировны.

²⁶ *Якубенко Владимир* — бывший муж Марии Кауфман, работал в Эрмитаже в политическом отделе.

²⁷ *Саянов Виссарион* (наст. имя Махлин Виссарион Михайлович) (1903–1959) — поэт, прозаик, критик. Активный общественный деятель. В 1944–1946 гг. был главным редактором ж. «Звезда», снят с должности в связи с Постановлением ЦК ВКП(б) 1946 г. Жил в одном доме с М. Зощенко.

²⁸ *Прокофьев Александр Андреевич* (1900–1971) — поэт, председатель СП в Ленинграде.

²⁹ *Форш Ольга Дмитриевна* (1873–1961) — прозаик, драматург.

³⁰ Книга, о которой мечтал М. Зощенко, «Избранные рассказы и повести. 1923–1956» вышла в свет в 1956 году. (Л.: Советский писатель, 1956, тираж 30 000 экз.)

³¹ Антонина, жена сына М. Зощенко — Валерия, которого по-домашнему звали Валей. К Антонине М. М. Зощенко и Вера Владимировна относились отрицательно.

³² «Старый Новый год» семья Зощенко встречала со своим воспитанником Вовой (Владимиром), которого они взяли в свою семью после того, как его родителей арестовали в 1937 году. Он был в гостях у Зощенко вместе со своей женой Галиной.

³³ *Зенькович Вера Владимировна* — художник, хорошая знакомая М. М. Зощенко. Писала ему письма в Сочи в санаторий, навещала дома с разрешения его супруги. Ухаживала за писателем во время болезни, даже пыталась кормить с руки рисовой кашей.

³⁴ *Малоземова Ольга* — подруга Веры Владимировны.

³⁵ *Томашевский Борис Викторович* (1890–1957) — филолог, литературовед; *Томашевская (Медведева) Ирина Львовна* (1903–1973) — супруга его, литературовед. Они жили в одном доме с семьей М. Зощенко.

³⁶ *Браун Николай Леопольдович* (1902–1975) — поэт, также жил в одном доме с М. Зощенко.

Библиографический список

1. Жолковский А. К. Михаил Зощенко: поэтика недоверия. М. 1999.
2. Михаил Зощенко: Материалы к творческой биографии. Кн. 1 / Отв. ред. Н. А. Грознова. СПб., 1997.
3. Огарев Н. П. Мой Русский стих, живое слово: Стихотворения. М., 1983.